



ДЖЕМС ГРИНВУД

МАЛЕНЬКИЙ
ОБОРВЫШ

ДЕТГИЗ
1956

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ НЕРУССКИХ ШКОЛ

ДЖЕМС ГРИНВУД

МАЛЕНЬКИЙ
ОБОРВЫШ



Рисунки И. Негровой

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1956

ИЗДАНИЕ ШЕСТОЕ, ИСПРАВЛЕННОЕ

В н е р е с н а з е

Т. Богданович и К. Чуковского

Предисловие Е. Брандиса

О ДЖЕМСЕ ГРИНВУДЕ И «МАЛЕНЬКОМ ОБОРВЫШЕ»

1

Автор этой повести — английский писатель Джемс Грінвуд. Он написал много книг — главным образом о моряках и тропических странах. Герои Грінвуда терпят кораблекрушения, скитаются по пустыням и джунглям, томятся в плену у дикарей, охотятся вместе с ними на тигров и львов. Но еще больше книг написано Джемсом Грінвудом о лондонской голодной бедноте, которая ютится в холодных, тесных и грязных жилищах, рядом с великолепными дворцами богатых банкиров и лордов. Жизнь мелких ремесленников, бродяг, беспризорных детей была хорошо знакома Джемсу Грінвуду; он правдиво изображал эту жизнь, причем все его сочувствие было на стороне бедняков.

2

В те годы, когда Джемс Грінвуд писал свой книгу, Англия была еще самой могущественной в мире капиталистической державой. Ее колониальные владения, захваченные ценой кровопролитных войн и безжалостного истребления борцов за свободу, находились в разных частях света и простирались на миллионы квадратных километров. Английские дельцы и дворяне неслыханно наживались за счет ограбления колониальных народов. В то время Англия еще обладала самой мощной промышленностью и самым многочисленным военным и торговым флотом. Английские фабриканты и купцы, выгодно сбывающие свой товар во всех государствах и странах, хвастливо называли Англию «мастерской мира».

3

Но чем больше богатеи и наживались господствующие классы, тем больше ухудшалось положение английских трудящихся. Ни в одной стране рабочие тогда не подвергались такому жестокому угнетению, как в Англии. Ни в одной стране не было такой волнившей нищеты, такого количества самоубийств и уголовных преступлений, такой массы безработных, голодных и бродяг, как в Англии. Ни в одной стране не было таких ужасных условий существования, как в знаменитых лондонских трущобах.

С ужасами лондонских трущоб могли в то время соперничать только рабочие дома, которые были введены в Англии в 1834 году после того, как правительство отменило все пособия для бедных. Несчастные люди, попадавшие в рабочие дома, превращались в настоящих каторжников. Мужей разлучали с женами, детей отнимали от родителей. Отлучаясь из рабочего дома разрешалось лишь в особых случаях, по усмотрению начальства. Обитателей рабочих домов заставляли бесплатно выполнять самую изнурительную работу: мужчины должны были дробить камень, женщины и дети — щипать старые канаты и т. п. Кормили в рабочих домах хуже, чем в тюрьмах. Поэтому многие жертвы «благотворительности» предпочитали проплыть в глазах смотрителей преступниками, чтобы попасть в обычную тюрьму, где режим был менее суровым.

Введение рабочих домов вызвало ряд восстаний. Но только в 1909 году, под давлением всей нарастающего возмущения народных масс, английское правительство вынуждено было закрыть рабочие дома.

В то же время в богатой и могущественной Англии десятки и сотни тысяч малолетних детей были оторваны от семьи и школы, выброшены на улицу или отданы во власть жадных предпринимателей.

Известно, что ни в одной стране детский труд не приносил капиталистам таких огромных барышей, как в Англии XIX века. Маленьких рабочих заставляли гнуть спилю с раннего утра до позднего вечера, а платили им такие жалкие гроши, что их хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду.

Передовы́е лю́ди Англии на протяжéнии мнóгих лет велí упо́рную борьбú прóтив жестóкой эксплуатáции детéй. В концé концóв английское правительство должно было ввестí законы, запрещáвшие принимáть на рабóту малолéтних и заставлять детéй труdiться до позднего вéчера.

В первой половíне XIX вéка в Англии развернúлась дея-
тельность нéскольких кру́пных писáтелей, постáвивших сво-
ей цéлью неустáнно разоблачáть чудóвищные преступлéния
английских капиталистов, повéдать мíру сурóвую прáвdu о
гóрькой ýчасти английских беднякóв, рассказать о том, как ты-
сячи людéй живу́т и умирают в рабóтных домáх и долговýх
тóрьмах, в сырýх подвáлах и на холóдных чердакáх. В то же
врёмя эти писáтели с негодовáнием изображáли прáздную, бес-
пéчную жизнь обитáтелей богáтых особнякóв, огороженных вы-
сокими кáменными стéнами от всего осталъного мíра.

К такýм писáтелям-реалистам, сурóвым обличýтелям гос-
подствующих клáссов Англии, относятся Чárльз Дíккенс,
Уильям Теккерéй, Шарлотта Бронтé, Элизабéт Гáскелл и дру-
гие английские писáтели, твóрчество которых высокó ценíли
Маркс и Энгельс.

Комý приходíлось читáть ромáны Дíккенса «Олýвер
Твист», «Нíколас Нíкльби», «Давíд Кóпперфильд», «Кróшка
Дóррит», навернýка найдут в них мнóго общего и по téме и по
отношéнию áвтора к герóям из нарóда с «Мáлеñким обóрвý-
шем» Грýнвуда. И э́то не случáйно. Грýнвуд, безусловно, при-
надлежйт к той же грúппе английских писáтелей-реалистов
XIX вéка, которую в 60-е гóды всé ещé возглавлял Дíккенс.

“

Джемс Грýнвуд родíлся в 1833 годú в семье мéлкого слúжа-
щего. Кróме Джéмса, в семье было одínnадцать детéй — бrá-
тьев и сестёр, которые впослéдствии пошли по рáзным дорóгам.
Трóе бráтьев — Фредерик, Джемс и Уóльтер — начали свою са-
мостоятельную жизнь с тогó, что поступíли набóрщиками в ти-

погráфию. Чéрез нéсколько лет Фредерíк и Джéмс стáли со-
тру́дничать в газéтах, а Уóлтер, заболéв туберкулёзом, ýмер у
набóрной кáссы.

Фредерíк, всегда стремíвшийся к «солíдному», обеспéчен-
ному существовáнию, в концé концóв накопíл изрядную сúмму
и стал редáктором большóй газéты. Джéмса, напрóтив, всегда
тянúло в сáмую гúщу жíзни, и он не пожелáл променять своюó
свобóду на хорошó оплáчиваемую дóлжность в редáкции, котó-
рую не раз предлагáл ему Фредерíк.

Выбрав своюó дорóгу, Джéмс стал талáントливым журна-
листом и литерáтором, писáвшим статьи, óчерки и ромáны
на сáмые злободнéвные téмы. В 60—70-е гóды ýмя Джéмса
Грýнвуда в Англии бы́ло хорошо извéстно. Он привлéк к себé
внимáние беспощáдно правдíвыми óчерками о лóндóнских ноch-
лéжных домáх.

Переодéвшись однáжды бродягой, он нéсколько часóв мérз
на úлице в ненáстную осéннюю ночь, прéждe чем емý удалóсь
получить място в ноchléжке. Здесь он столкнулся с такóй неопи-
сúемой грáзью и зловóнием, с такóй страшной нищетóй и с та-
кими невероятными человéческими страдáниями, что это на-
много превзошлó все дáже сáмые мрáчные егó предположéния
об úжасах лóндóнских трущóб.

Обо всём увídennом Грýнвуд повéдал в своих óчерках, ко-
торые были, однáко, значительно смягчены цензúрой. И всё же
óчерки выíзвали такóй интерес, что тираж газéты, в которой они
были опубликóваны, рéзко повысился. Затéм óчерки Грýнвуда
были перепечáтаны многими другíми газéтами и выíзвали мно-
гочиcленные óткили. Так, напримéр, в однóй рецензии говорý-
лось: «Картíна, нарисованная Грýнвудом, тем более ужásна,
что сам он провёл в этих услоvиях тóлько лишь однú ночь, а ты-
сячи наxих соотéчественников вынуждены проводить таким óб-
разом всю жíзнь...»

Свой лúчшиe книgи Джéмс Грýнвуд написáл в 60-е гóды.
Затéм он начинáет печáтаться рéже и рéже, покá наконéц егó
ýмя в óбвсе не исчезáет из литератúры. Когда в 1905 году Грýн-
вуд выíпустил своюó послéднюю книгу, для нóвого поколéния чи-

тателей он был ужé неизвéстным áвтором, так как его юмá и его многочíсленные произведéния 60—70-х годóв были забыты.

Умер Джемс Грýнвуд в 1929 годú, на девяносто седьмом го-
дú жýзни.

Много сурóвой прáвды рассказаl Грýнвуд о бéдственном положéнии детéй английских трудящихся. Много печáльных мыслей навевáет его книга.

И всё-таки от побести Грýнвуда не остаётся гнетúщего впе-
чатлéния. Онá согрéta горячей любóвью писáтеля к простым людям, которые во всех жýзненных испытáниях не теряют са-
мообладáния, бóдрости дúха и вéры в лúчшее бóдущее.

До сámой послéдней странíцы мы следим с напряжённым внимáнием за злосчастными похождéниями мáленького обóр-
выша, искренне сочúствуем его горестям и печáлям, рáдуемся
вмéсте с ним, когдá ему удаётся достáть кóрку хлéба или найтí
ночлéг.

Дáже в сáмые трóдные минúты мáленький Джим не унывáет
и не теряет мýжества. Его жизнерáдостный и общительный ха-
рактер, свойственное ему чуство спраvедливости и доброжелá-
тельное отношение к людям помогают ему обрестí вéрных то-
вáрищей и друзéй, которые не раз выручáют его из беды. И до
сámой послéдней странíцы мы не перестаём вéрить, что мáлень-
кий обóрвыш выдержит все испытáния и невзгóды и сумéет по-
бедить в жýзненной борьбé.

В автобиографической побести «В людях» Максим Гóрький вспоминаёт, какое большóе впечатлéние произвёл на него, ко-
гдá он был подростком, «Мáленький обóрвыш» Грýнвуда.
В трагической судьбé лóндóнского беспризóрника Алёша Пеш-
кóв, на кáждом шагу стáлкивавшийся с грáзью и пошлостью
стáрого мýра, увидел много общего с превратностями своéй
сóбственной жýзни. Но книга Грýнвуда не навелá на него уны-
ния. Напрóтив! Онá укрепíла его душéвную бóдрость, его вé-
ру в способность человéка выдержать любые испытáния и не-
взгóды.

В пôвости «В лôдях» Гóрький вспоминает о том, как однá знакомая закройщица давала ему читать разные интересные книгы, которые неожиданно открыли перед ним большой и широкий мир.

«Чéрез несколько дней, — пишет Гóрький, — она далá мне Грайнууда «Пôдлинную истóрию ма́ленького обóрвиша»; заголовок книги несколько уколóл меня, но пéрвая же страница вызывала в душé улыбку восторга, — так с эtoю улыбкою я и читал всю книгу до концá, перечитывая иные страницы по два, по три раза...

Много бôдрости подарил мне Грайнууд...»

Книга Грайнууда написана давно и рассказывает о далёком прошлом. Но все те уродливые жизненные явления, о которых писатель так правдиво повествует устами своего маленького героя, до сих пор — прáвда, в несколько изменённом виде — продолжают существовать в капиталистических странах и, в частности, в Англии.

Такие обществоенные бéдствия, как безработица и обнищание трудящихся, детская беспризорность и непосильный труд детей на промышленных предприятиях, исчезнут окончательно только тогда, когда социалистический строй восторжествует во всём мýре.

E. Брандис



Мáчеха

Мне бы́ло шесть лет. Моя́ мать умерла; отéц жени́лся на друго́й. Мáчеха мо́я бы́ла злáя, лени́вая и хýтрая жéншина. Зва́ли её мíссис¹ Берк. Цéлы́й день мори́ла она́ менéя тяжёлой рабóтой, заставля́ла нýнчить ребёнка, носить из ко́лодца вóду, убира́ть кóмнату, бéгать в лáвку — и óчень хúдо корми́ла менéя.

Отéц давáл ей кáждое úтро дéньги на хозéйство; она́ трáтила их на вóдку, потому что былá пýяницей и без вóдки не могла прожи́ть ни одногó дня. Чтóбы обману́ть отцá, она́ посыла́ла менéя в лавчóнку купи́ть на грош кúчу стáрых, негóдных костéй и рассkáзывала отцú, что э́то остатки от на́ших обéдов.

Отéц возвращáлся домо́й то́лько вéчером; он служíл про- давцóм у одногó богáтого купцá, торговавшего овошáми на ба-

¹ Мíссис (англ.) — госпожá.

зárе, и очень уставáл за цéлый день. Ему всегда было пригото-
влено к ужину горячее блюдо, а так как я очень часто с само-
го утра не ел ничего, кроме корки хлеба, мне сильно хотелось
получить хоть кусочек мяса. Если ма́чеха видела, что отец даёт
мене что-нибудь со своей тарелки, она сейчас же начинала лгать.

— Ах, мýлый Джемс, — говорила она, — пожалуйста, не
кормите ребёнка: он, право, объестся и заболеет! Он ужасно
жадный. Сегодня за обедом я три раза накладывала ему такие
огромные порции варёной баранины, что хватило бы на двойх.

— Экий негодяй! — кричал отец. — Вертитесь тут да смотрите
меня в рот, точно не ел цéлый месяц! Пощёл спать, обжора, пока
я не отхлеста́л тебя розгой!

Я ложился спать с пустым желудком, не смéя произнести ни
слова в своё оправдание.

Раз ма́чеха сыграла со мной особенно гáдкую штуку. К ней
пришла в гости какая-то жéнщина, и они вместе пропили все
дёньги, которые отец оставил на обед и на ужин. Когда гостья
ушла, ма́чеха, немногого пропившись, сгрустила: ведь отец
будет очень сердиться, если узнает, что она оставила семью без
еды. Кроме того, надо было откуда-нибудь достать денег отцу
на ужин. Но откуда?

Она стала плакать и причитать самыми жалобными голосом.

— Бедная я, несчастная, что мне делать? — рыдала она. —
Скоро придёт твой пapa, голубчик Джимми! Он скоро придёт
домой! Я не могу приготовить ему ужин, и он до смерти изобьёт
меня! Несчастная я, бедная жéнщина!

Её слёзы тронули меня, и сердце моё растаяло от нежного
названия «голубчик». Я подошёл к ма́чехе, стараясь утешить
её и спрашивал, не могу ли я чём-нибудь помочь ей.

— Это ты так только говоришь, Джимми, — сказала она, —
а думаешь совсéм другое. Да и правда, ты не можешь меня жа-
леть: я всегда дурно обращалась с тобой! Ох, уж только бы
миновала эта беда, я пальцем тебя больше не трону!

Смирённое раскаяние ма́чехи ещё сильнее растрогало меня.

— Вы мне скажите только, чем вам помочь, я всё сделаю! —
с жаром уверял я её.

— Помочь-то мне, конечно, можно, милый Джимми, только мне не хочется просить тебя об этом. Вот тебе, голубчик, полтора пенса¹, трати их, как хочешь.

Щедрость миссис Берк очень удивила меня, и я стал еще больше упрашивать её сказать мне, как помочь ей.

— Да видишь ли, душенька, — проговорила она наконец, — ты бы мог сказать папе, что я дал тебе денег и послала тебе в аптеку купить для твоей маленькой сестренки лекарства и что ты будто бы потерял эти деньги. Ведь это нетрудно, голубчик Джимми?

— А если отец поколотит меня?

— Полноте, дружок! Как же это можно? Ведь я буду тут. Я скажу отцу, что на тебя налетел ротозей огромного роста, толкнул тебя, выхватил у тебя деньги и убежал, так что ты ни в чём не виноват. Отец не станет тебя бить, будь уверен! А теперь поди погуляй, купи себе что хочешь на свой полтора пенса.

Я ушёл, хотя на душу у меня было неспокойно. Я нарочно не спешил в этот вечер возвращаться домой, чтобы маечка успела рассказать отцу историю о потерянных деньгах.

Когда я вошёл, отец стоял у дверей с ремнём в руке.

— Иди-ка сюда, негодяй! — вскричал он, хватая меня за ухо. — Куда ты девал мой деньги? Говори сейчас!

— Я потерял их, папа! — проговорил я в страхе, смотря умоляющими глазами на миссис Берк. Я ожидал, что она встунется за меня.

— Потерял? Где же это ты их потерял?

— Да я шёл купить лекарство для Полли, а большой мальчик насмехался на меня и вышиб их у меня из рук.

— И ты думаешь, я поверию твоим рассказам! — вскричал отец, бледный от гнева.

Меня не особенно удивило недоверие отца, но я был просто поражён, когда маечка вдруг проговорила:

— Да, вот он и мне сказал такую же неправду. А спросите-

¹ Пенс, пенни — мелкая монета, не больше пятака.

ка у него́, Джемс, где он шатáлся до сих пор и отчего́ у него́ ма́сляные пятна на перéднике?

На моём перéднике действительно были пятна от жирного пирожкá, котóрым я полакомился за свой полтора пénса.

— Ах ты, дрянной воришка! — закричал отéц. — Ты укрáл мой дёньги и угоща́лся на них!

— Да, я дóмаю, что это так, Джемс, — сказáла пóдлая жéнщина, — и я совéтовала бы вам задáть ему́ хоро́шую побóрку.

Она́ стояла тут, покá отéц стегáл менé до кро́ви тóлстым ко́жаным ремнём. Наско́лько было возмóжно, я прокричáл ему́ всю истóрию о деньгáх, но он не слúшал менé и бил, покá рукá у него́ не устáла. Пóсле побóрки менé зáперли в тёмную комнату и оставили там до ночи. О, как возненавидел я ма́чеху! Я был так взбешён, что почтý не чу́вствовал боли от кровáвых рубцов.

Отéц слéпо вéрил э́той лукáвой обманщице и трéбовал, что́бы я любíл её, как роднúю мать. Раз вéчером он пришёл вмéсте с какýм-то молодым человéком и послáл менé за бутылкой рома¹. Когдá я принéс ром, гость налил стакáны и стал пить за здоровье отца и ма́чехи и желáть им вся́кого сча́стия. Менé э́то нискóлько не интересовáло, и я ужé собирáлся уйтý вон из комнаты, когдá отéц остановил менé.

— Подí сюдá, Джим, — сказáл он. — Вíдишь ты, кто э́то сидít на стúле?

— Конéчно, вíжу, — отвечал я. — Это моя ма́чеха, миссис Берк.

— Не смей называть её ма́чехой! Она́ тебе́ не ма́чеха! — крикнул отéц.

— А кто же она́?

— Она́ тебе́ ма́ма — вот как ты дóлжен называть её! И ты дóлжен любíть её, как роднúю мать. Подí поцелуй её сио же минúту.

В словáх отца нé было ничего осóбенно печáльного, но, услышав их, я принялся гóрько плáкать.

¹ Рома (ром) — очень крéпкой вóдки.

— Скажите, пожалуйста, чего этот негодяй хнычет? — за-
кричал отец.

— Оставь его, друг мой, — вмешалась мачеха. — Он ужас-
но упрямый мальчишка... Да ведь ты и сам знаешь, какой он
дрянной!

Я заплакал еще сильнее, потому что я очень любил мою
покойную мать и мне было больно называть сквернью, лживую
женщину матерью.

Отец рассердился и ударил кулаком по столу.

— Полно, не нападайте на мальчугана! — сказал гость. —
Сколько ему лет, Джемс? — обратился он к отцу.

— Седьмой год.

— Э, так ему, пожалуй, скоро придется самому себе хлеб
зарабатывать.

— Еще бы, еще бы! Давно пора! — затараторила мачеха. —
Вон какой большой мальчишка! Пора зарабатывать деньги.
Довольно бездельничать.

— Да ведь он и так работает, — недовольным голосом за-
метил отец: — он целые дни нянчит Поля.

— Ну, уж работа! Сидит себе с милой крошкой на руках, а
то бросит ее да играет с мальчишками.

— А я вам скажу, — решительным голосом произнес
гость, — что нет хуже на свете работы, как нянчить ребенка!
Меня самого заставляли заниматься этим мылым делом, но я
бросил его при первой возможности, хотя мне после этого при-
шлось взяться просто за лянье.

При этих словах добрый гость сунул мне тихонько в руку
пенини. Мне ужасно хотелось скорей улизнуть, чтобы прокутить
свой деньги, и я перестал обращать внимание на разговоры
больших. Однако слова молодого человека о лянье креп-
ко запали мне в ум. Я сам охочнее стал бы лаять пособачьи,
чем нянчиться с ребенком. Но кому могло понадобиться мое
лянье? Я видел иногда, как пастух гонял стадо овец, и видел,
как мальчики помогали ему загонять стадо и при этом лаяли и
визжали пособачьи, но я никогда не воображал, чтобы за та-
кое дело платили деньги. Зачем пастуху нанимать мальчиков

для лáянья? Ему дешёвле стбило бы содержáть настóящую со-
бáку, — рассуждал я. Однáко гость сказáл, что лáять лúчше,
чем нýнчить ребёнка, а он еще не знал, как хúдо мне живётся,
как ма́ло заботится обо мне отéц, как мýчит менé злáя ма́чеха!
Ему бы́ло неприятно нýнчить ребёнка, а для менé это — настó-
ящая пýтка.

II

Новые му́ченяя. — Бегство

Малóтка Пóлли не давáла мне покóя дáже нóчью. Её уклá-
дывали в моё постéль ráно вéчером, и, ложáсь спать, я всéми
сíлами старáлся не разбудить её. Если э́то удавáлось, я мог
спать спокóйно часá три-четыре. Но во втором часу нóчи дéво-
чка просыпáлась и начинáла кричáть во всé гóрло. Её ничéм
нельзя́ бы́ло унять, ей непремéнно нýжно бы́ло дать пить и есть.
Около нашей постéли всегдá клáли кусóк хléба с ма́слом и
стáвили кувши́н молокá. Дéвочка молчáла, покá ёла, но по но-
чам аппетít у неё был очéнь большо́й, и, бýстро истреби́в все
припáсы, она́ опáть принимáлась кричáть. Никакие лáски, ни-
какие пéсни, никакое баóканье не моглý успокóить её.

— Máma! máma! máma! — ора́ла она́ так, что бы́ло слýшно
на другом концé ýлицы.

Я напрягáл все сíлы, чтобы успокóить её.

— Пóлли, не хóчешь ли погулáть с Джýмми? — спрашивал
я её.

Иногдá, осóбенно в свéтлые, лúнные нóчи, она́ соглаша́лась.
Мы, конéчно, же моглý в сáмом дéле идти гулять, но Пóлли
не понимáла э́того. Мы с ней одевáлись, как бýдто собира́лись
выйти на ýлицу. Я надевáл на неё шля́пку ма́чехи и накýдывал
ей на плечи свою́ кýртку. Мой костýом для гулянья состоя́л
прóсто из стáрой мехово́й шáпки отца́, хранившейся под нашим
тюфяком. Когдá мы бы́ли одéты, я говорíл гóлосом ма́чехи:

— Джýмми, погулáй с Пóлли, покажí ей лáвку с леден-
цáми!

И отвечáл ужé своíм гóлосом:

— Мы готóвы, сейчáс идём!

Затéм мы отправлялись на прогúлку, но никák не моглí найтí двери. В этом состояла глáвная штúка. Нам нúжно было выйти на улицу, чтобы купить леденцóв, а мы не могли добраться до двереý. Большая шлýпа, надéтая на голову Пóлли, отлýчно помога́ла мне в этом слúчае. Чáсто Пóлли, прогуляв такíм образом у менé на рукáх с полчасá, засыпáла, и я осторожнo уклáдывал её в постель. Случáлось — и это было хúже всегó, — что она совсéм не хотéла идти гулять. На-прáсно обеща́л я ей леденцóв, напрáсно я лáял по-собáчыи, мяукал кóшкой, изобража́л индюкóв, поросýт и цыплáт: она ничего не слúшала, ни на что не смотрéла и грóмким голосом трéбовала «леп». Слóвом «леп» она назывáла хлеб с мáслом, и это слóво она с криком повторяла в отвéт на все мой уговóры. За стеной раздавáлся стук: это мáчеха колотýла пálкой в стéну:

— Что ты там дёлаешь с бéдной кróшкой, злой мальчишка?

— Она просит «леп».

— Так что же, ты не мóжешь встать и подасть ей, лентяй?

— Да нéчего подавáть, она всé съéла.

— Как — всé съéла? Ах ты, лгун! Ты, вéрно, опять принял-ся за свой гáдкие штúки — сам слóпал всю едú бéдной малю́тки! Сейчás же успокой её, не выводи́ менé из терпéния, не то тебе достáется!

Я знал, что мне в сáмом дéле сильнo достáется, и начинáл со слезами упрашивáть Пóлли, чтобы она замолчáла. Но не тут-то было! Заслышиав голос мáчехи, она принимáлась кричáть пúще прéжнего. Дрожá от страха, я слýшал шаги в сосéдней кóмнате, скрип дверной рúчки, и вот рассéрженная мáчеха в однóй рубáшке и ночном чепце врыва́лась в кóмнату. Не говоря ни слова, она бросáлась на менé и начинáла без милосéдия



бить менѧ по гóлому тéлу. Онá прижимала мою гóлову к по-
дúшке — так что я не мог дáже кричáть.

Отéц не знал, что онá со мной выдéлывает: онá всé врёмя
повторяла громким голосом, что отколотит менѧ, если я еще
раз съем то, что приготóвлено для ребёнка.

— Да что ты страшáешь его пóпусту? — кричáл отéц из дру-
гой кóмнаты. — Ты бы хорошéнько задалá емý, обжóре погáно-
му, а то он в грош тебя не стáвит.

— Да уж и моё терпéние скóро лóпнет! — говорíла ма́че-
ха. — Смотри же ты, негодáй!

Затéм онá возвращáлась в кóмнату и говорíла отцу:

— Лúчше обойтись без побóев, Джемс. Побóями ма́ло хо-
рошего мόжно сдéлать из ребёнка.

Удивительнo, что после потасóвки, зáданной мне, Пóлли обык-
новéнно свéртывалась клубóчком и засыпáла как ни в чём не бы-
вáло. Оттого отéц думал, что я и в сáмом дёле могú успокóить
её, когда захочу. Раз я не вытерпел и стал жáловаться на ма́чеху.

— Нискóлько я тебя не жалéю! — отвечáл отéц. — Такого
упрýмого негодáя надо бы еще не так учíть.

— Ну, — сказал я, — недóлго ей надо мнóю потешáться:
вырасту большóй, я ей покажу!

Отéц посмотрéл на менѧ и засмейлся.

— Если бы я был большóй, — продолжáл я, ободрённый
его смéхом, — я бы ей нос расшиб, я бы ей нóги перебýл! Я еe
ненавíжу!

— Пóлно глúости болтáть! — остановил менѧ отéц.

— Онá вам всé врёмя лjёт. У менѧ минутки нет свободной,
я должен всé врёмя возйтись с Пóлли!

— Эка вáжность — присмотрéть за ребёнком! Другие ма́ль-
чики в твой гóды уж умеют сáми дéньги зарабáть.

— И мне бы хотéлось рабóтать, пáпа.

— «Хотéлось бы рабóтать»! Рабóту надо искáть, онá самá
к людям не приходит. Вон, как я идú на рынок, часá в четыре
утра, когда ты еще спишь, я встречаю ма́льчиков вдвóе мénьше
тебя. Зарабóтают себé пéнни-другой, ну и поедáт. А нет, так и
сидят голóдные.

— У менé нет ни́ порýдочных штанóв, ни чулóк, ни сапóг, пáпа. Как же я пойдú искáть рабóту?

— Ах ты, дурáк, дурáк! Ты дóумаешь, для рабóты нúжен ши-карный нарýд! Вон у тех мáльчиков, про которых я говорó, однá рубáшка на téле, а дéло дéлают не хúже другíх: нóсят рыбу, корзíны с картóфелем, стерегут лóдки и телéжки с товáром. А тебе нúжно идти на рабóту в бéлом воротничкé да в пер-чатках! Хорош гусь!

Отéц с презрéнием отвернúлся от менé и ушёл.

С кáждым днём мáчеха всé больше мúчила менé. Особенно плóхо стáло после тогó, как оди́н раз отéц нашёл её п्यáной и побил. Чáсто мне приходíлось бы голодáть по цéлым дням, если бы менé не жалéла стáрая прáчка, мýссис Уйнкшип. Мýссис Уйнкшип давнó знала мою мать и всегдá хвалила её: «Она была слíшком хорошá для твоего отца, а он слíшком хорош для э́той злой, хйтвой Берк», — говорíла она. Я обыкновéнно поверял мýссис Уйнкшип все свой огорчéния. Она зазывáла менé к себé на кúхню и кормíла остáтками своегó обéда. Иногда она бралá к себé Пóлли и нýянчилась с ней, покá я игрáл часóк-другóй. Я спросíл у мýссис Уйнкшип, что такоé «лáя-тель». Она объясníла мне, что так называются мальчугáны, котóрого нанимáет разнóбчик, чтобы везти телéжку с товáром, при-сматривать за ней, покá хозяин закупáет на рýнке разные вéши, и потóм помогáть ему выкriкивать свой товáр.

— А какоý был сáмый мáленький лáятель, какоý вы ви-дали? — полюбопытствовал я.

— Какоý? Да я вíдела такíх, что придúтся тебé по плечó. Тут рост — послéднее дéло. Глáвное — надо́бно имéть музы-кальный гóлос.

Мýссис Уйнкшип дóлго толковáла, как мно́го зна́чит для продавцá умéнье грóмким и приятным гóлосом выкriкивать свой товáр. Она говорíла, что кáждую вeшь слéдует выкriкивать особыенным гóлосом. Продавцы углá кричáт так, а продав-цы молокá — вот э́так.

Пóсле э́того менé стал мúчить вопрос: есть ли у менé музы-кальный гóлос? Мáчеха моя считáлась хорошeй певíцей, я

научился у неё некоторым пением и часто напевал их, как будто неплохо. Но кто знает — может быть, мой голос, хороший для певен, окажется никуда не годным для криков о рыбе или о каких-нибудь фруктах! Мне во что бы то ни стало хотелось избавиться от колотушек мачехи, а я не мог придумать для этого другого средства, как сдаться лаятелем. Я несколько раз пытался кричать, подражая тому, то другому разносчику, но не мог решить, хорошо я кричу или худо.

Раз, сидя на лестнице с Полли на руках, я так задумался, что малютка выпала у меня из рук и с криком покатилась по ступеньям. Миссис Берк услыхала её крик и налетела на меня с быстротой молнии. Не слышав моих объяснений, даже не подняв ребёнка с полу, она схватила меня за волосы и стукнула несколько раз головой о стёну. Она хотела взять меня за ухо, но я увернулся, и она до крови расцарапала мне щёку. Потом она принялась бить меня кулаками и защемила мой нос между пальцами. Боль привела меня в бешенство. Я вырвался и укусил её за пальец. Она вскрикнула от боли и выпустила меня. Воспользовавшись этим, я бросился от неё в сторону и пустился со всех ног бежать по нашему переулку.

III

Вечер на Смитфилдском рынке.—Мне угрожает серьёзная опасность

Не знаю, преследовала ли меня миссис Берк. Я бежал по нашему переулку и даже не оглядывался. Прячка миссис Уинкишип увидела меня и, догадавшись по моему перепуганному лицу, что я бегу от большой опасности, крикнула мне:

— Беги, Джимми, беги скорей, чтобы тебя не догнали!

Из переулка я побежал по Тернмиллской улице и повернулся к Смитфилдскому рынку. Я понимал, что на открытом месте миссис Берк легко может догнать меня, а в закоулках и узких проходах рыночной площади ей меня не найти.

Рыночная площадь была спокойна и пустая. Я хорошо знал



Эту пло́щадь, так как ча́сто игрáл на ней с това́ришами. Тепéрь я вспóмнил, что мальчи́шки не любíли ходíть в свинóй ряд, и напráвился ýменно тудá. Я влез на ступéньки однóй закры́той лáвки и осмотрéлся кругóм. Мíссис Берк нé было вýдно нигдé. Я запыхáлся от сильного бéга, я ревéл от болí и злости. Слёзы мой смéшивались с кróвью царапин, проведённых по моему лицу ногти́ми мíссис Берк. Вóлосы у менé были вскло́бочены, шáпки нé было; босые ноги были в грязí, кóртка покрýта ды́рами и заплатами. Вот в какóм вýде сидéл я на ступéньках свинóго рýда в тёплый мáйский вéчер.

Пéрвые полчасá мой мы́сли были заняты однýм: я все́ боялся, что мíссис Берк притайлась гдé-нибудь в углú и вдруг набросится на менé. Я беспрестáнно осматривался по сторонам и пуглýво прислушивался к кáждому шороху. Но вре́мя шло, а моего врага нигдé нé было вýдно. Мáло-помáлу я успокóился и, услыхáв, что прóбило четы́ре часá, начал серъéзно обдúмывать, что мне дéлать. Идти домóй? Нет, невозмóжно! Онá убьёт менé. Тепéрь онá мóжет дéлать со мной все́, что захóчет: онá покáжет отцу свой уку́шенный пáлец, и он скáжет, что я заслу́жил наказáние. Что я скажу́ отцу? Я укусíл её — это было гáдко. Кро́ме того, я уронíл ребёнка. Мне велéли сидéть сми́рно и крéпко держáть дéвочку, а я выпустил её из рук, онá ушиблась и, мóжет быть, очень сильно. Бéдная Пóлли! Онá упа́ла с ужáсными крикáми: мóжет быть, у неё перелóманы тепéрь все кóсти. Мóжет быть, оттого мáчеха за мной и не погналáсь. Нет, нéчего и думать о возвращéнии домóй!

Но кудá же мне дéться? На у́лице стемнéло. Нáчали зажига́ть фонари́. Сидéть в свинóм ряду бы́ло очень неприятно. Я пробráлся в другóй ряд и там опять сел, старáясь обдúмать своё положéние. Становилось темнó. Мне все́ больше хотéлось есть. Я стал думать: что со мной случíтся, если я вернúсь до мóй? Я припомнáл сáмые сильные побóи, какие мне случáлось получáть когдá-либо, и старáлся представить себé, в состояниí ли я бýду перенести такóе наказáние. Вдруг кто-то дотрóкнулся до моей руки, и, подняв глазá, я уви́дел перед собой какóго-то мужчи́ну, держáвшего в рукé дрэ пéнса.

— Ах ты, замара́шка! — сказа́л он сострадательным го́лосом. — Возьмй, купи́ себé хлéба.

Прéжде чем я успéл опóмниться от удивле́ния, прохóжий исчёз в темнотé. Я дáже не поблагодари́л его и не знал, рáдо-ваться ли мне полúченным деньгáм. Зачéм он не сказа́л прóсто: «Вот тебе́ два пéнса! Меня́ мнóгие назывáли замара́шкой, и э́то не оскорблáло менé, но зачéм он велéл мне купи́ть хлéба, как бúдто я нíщий! Чтóбы поддержáть своё достóинство, я за-кричáл грóмким, здорóвым гóлосом в ту стóрону, кудá ушёл сострадáтельный человéк:

— Не стáну я покупáть хлéба! Куплю чéго вздúмается!

И я пошёл с твёрдым желáнием сдéлать назлó человéку, подáвшему мнé мýлостыню. Я решите́льно отвёртывался от бúлочных, попадáвшихся мне по дорóге, и старáлся думать только о лáкомствах. Так я дошёл до небольшой лавчóнки, где продавáлось варéнье. На кáждой бáнке была́ на́дпись с обозна-чением цены. Особенно соблазнительно показáлась мне однá бáнка с варéнем из слив. На бáнке было написано: «18 пéнсов за фунт». Я стал считáть по пáльцам и нашёл, что 3 грáмма э́того варéнья бúдут стоить 2 пéнса и 1 фáртинг¹. Одного фáр-тинга у менé, прáвда, не хватáло, но всé равнó я могу спросить себé прóсто на два пéнса варéнья. Два пéнса — дéньги хоро-шие, это не то что какиé-нибуль полпéнса.

«Пожáлуйте мне варéнья из слив на два пéнса!» — повтори́л я самому́ себé и твёрдыми шагáми пошёл к дверýм лáвки. Но едвá ступил я на порóг, как получи́л удáр побóху.

— Убирайся прочь! — крикнула старúха-хозя́йка. — Я ужé минút déсять слежу́ за тобóй, дрянной вори́шка!

И с э́тими словáми онá захлóпнула дверь.

Я был страшно раздосáован. Я бróсился на ўлицу за кáм-нem и хотéл разбить óкна гáдкой лавчóнки. Но в э́ту минуту ме-ня́ порази́л такóй замáнчивый зáпах, что гнев мой сейчáс же исчёз.

Зáпах выходи́л из сосéдней закúсочной. Должно быть, там

¹ Фáртинг (англ.) — сáмая мéлкая монéта, мénьше копéйки.



только что вынули из пёчи гороховый пудинг и масленые лепёшки. Что было бы со мной, если бы я подошёл к дверям закусочной, ужё истрачив на жалкую каплю варенья свой два пенса! Не колеблясь ни минуты, я вошёл в закусочную и купил себе ужин: одну масленую лепёшку, кусок горохового пудинга на полпенса и на полпенса печёного картофеля. Мне хотелося тут же приняться за ужин, но я слыхал, что на свете есть злые люди, которые подстерегают беззащитных детей и обирают их. Поэтому я завернул свой ужин в капустный лист, спрятал его за пазуху, вернулся в свиной ряд и там с вели-

чайшим наслаждением съел всё до последней крошки.

Не скажу, чтобы я был вполне сыт. Нет, я мог бы съесть втройне больше, но всё-таки ужин несколько утолил мой голод. Мысли мои опять перенеслись к маленькой Полли. Каково-то ей теперь? Она не могла разговаривать со мной, но я видел, что ей очень неприятно, когда я плачу. Когда миссис Берк колотила меня, маленькая Полли обвивала мою шею ручонками и нежно целовала меня.

Мне стало так тяжело, что я решал пойти домой или хоть побродить около нашего переулка, пока кто-нибудь из соседей не расскажет мне, что у нас делается.

Было уже совсем темно, и по дороге от Смитфилдского рынка мне встретилось мало прохожих. Я шёл очень осторожно, осматриваясь по сторонам, и прятался в подворотни, когда мне казалось, что навстречу идёт кто-нибудь похожий на отца или на миссис Берк. Но страхи мои оказались излишними, и я безопасно прошёл уже половину Тернмайлской улицы. Вдруг, не доходя саженей двадцати до нашего переулка, я наткнулся на одного из моих приятелей, Джерри Пепа, мальчика годами

тремя́-четырьмá стáрше менá. Впрóчем, не я наткнúлся на него, а он на менá. Он бежáл чéрез ýлицу прýмо ко мне и óбнял менá обéими рукáми, как бýдто необыкновéнно обráдовался мне.

— Джим! Мýлый друг! — крикнул он. — Кудá ты идёшь?

— Сам не знаю, Джéри, — отвечáл я. — Хотéлось мне сходить домóй посмотреть...

— Рáзве ты нé был дóма? Нé был с сáмого утра, с тех пор как убежáл?

— Да, я цéлый день прóбыл на ýлице. Что там у нас дéается, Джéри? Не вýдел ли ты мáленькой Пóлли сегодня пóсле обéда?

Пеп не отвечáл на мой вопросы.

— Если ты нé был дóма, так идй скорée! — сказал он, хватая меня за вóрот и толкáя по направлению к нашему переýлку. — Пойдём, пойдём!

Поведéние Джéри показáлось мне подозрýтельным.

— Я пойдú домóй, когдá захочý, — сказал я и сел на мостоvýo. — Тебé нéчего толкáть меня, Пеп!

— Я тебý толкáю? Вот выдумал! С какóй стáти мне тебý толкáть! Ты же сам сказáл, что идёшь домóй. Стóишь ты, чтóбы тебе окáзывали услýги!

— Какие услýги, Джéри?

— Какие? Очень прóсто — какие! Там в переýлке все ревмáревут по тебé! И отéц, и мáчеха, и мáленькая Пóлли, дáже слýшать жáлко! Ужинать без тебý не хотáт садиться, а у них к ýжину приготóвлен огрóмный мясной пúдинг с картóфелем! Я и дýмаю: онý тут убиваются, ждут своеgó любýмого Джýмми, а Джýмми шатáется по ýлицам, бóйтся вернúться домóй. Пойдú-ка, скажу ему, что бóйтся нéчего. Вот и пошёл. А ты валýешься себé на мостовой да дýмаешь, что я вру!

Я посмотрéл прýмо в лицó Джéри, и при свéте гáзового фонарý лицó его показáлось мне таким чéстным, что я перестáл сомневáться. А мéжду тем рассkáз его был почтý невероятен. Все обо мне пláчут? Все с любóвью говорят обо мне? Мясной

пúдинг стынет из-за менá? Я почúвствовал угрызéния сóвести, и дáже слёзы вýступили у менá на глазáх.

— Джéрри, ты éто прáвду говорíшь? — вскричáл я, вскаки-
вая на ноги. — Ты уверен, что éто прáвда? Потому что ведь ты
знаешь, как мне плохо придётся, éсли ты сказáл непráвду. Ты
знаешь, как онá бьёт менá и таскает за вóлосы!

— Чего там непráвду! Все вóют о тебé, точно весь дом го-
рит, а отéц хýже всех! Да éсли ты мне не вéришь, войдí в пе-
реу́лок: егó голос слýшен ужé вóзле дóма Уйнкшип. Он повé-
ситься готов от гóря!

— А Пóлли? Что онá? Здорóва? Не сломáла ли онá себé
какой-нибудь кóсти, когда я уронил её с лéстницы, не разбила
ли нóса в кровь? Не вскочila ли у неё на головé шíшкá?

— Ах, вот ты чего бойшься! — вéсело сказáл Джéрри. —
Пóлно, онá совсéм здорóва! Когда её пóдняли, онá хохотáла,
как сумасшéдшая. Её схватíли и понеслí к дóктору...

— Как! Зачéм же к дóктору, Джéрри? Ведь ты говорíшь —
онá не ушиблась?

— Да ráзве я сказáл: к дóктору? — проговорíл Пеп, отво-
рачиваясь от менá в смущéнии.

— Сказáл, сказáл, Пеп! Ты сказáл, что её понеслí к дóк-
тору.

— Ну, так ведь я не сказáл, зачéм. Я только сказáл, что
когда её пóдняли, онá хохотáла. Ну, онá так сильно хохотáла,
что онý дáже испугáлись, подумали, не больна ли онá, и снеслí
ей к дóктору.

Совершéнно успокбенный и утéшеннный éтим объяснéнием, я,
радостно подскáкивая, пустýлся к нашему переу́лку. Джéрри
шёл рядом со мной, вéсело болтáя. Мы ужé были в нéскольких
шагáх от переу́лка, как вдруг к нам подскочил одýн мáльчик, с
которым я тóже играл не раз, и схватíл менá за руку.

— Поймáли, поймáли! — закричáл он. — Ведь пополáм,
Джéрри? Пополáм, не прáвда ли?

— Ну нет! — вскричáл Джéрри, схватывая менá за другúю
руку. — Не стáну я делиться с тобóй! Я за ним гоняюсь с тех
пор, как егó отéц вернúлся домóй. Я пéрвый поймáл егó!



— А я тебé говорю: пополам! — сказа́л друго́й мальчи́к, крепче сжима́я мне ру́ку. — Я следи́л за вами с тех пор, как вы встрети́лись. Без менéя тебé не доташить бы его́ до дому. Нéчего болта́ть пустяко́в, ведём его́!

— Ступа́й прочь! Джемс Бáлизет что сказа́л? Кто пéрвый его́ пойма́ет и приведёт домо́й, тому́ — шíллинг¹! А о второ́м он ниче́го не говори́л!

— Ну, ну, помалкива́й! — сказа́л друго́й мальчи́к. Он был сильне́е Джéрри. — Иди же, иди! — Эти послéдние словá относи́лись ко мне. — С тобо́й-то я делиться не стáну. Тебя́ отéц изобъё́т до полусмéрти, как тóлько ты попадёшь к нему́ в ру́ки.

Не помня себá от стра́ха, я вы́скользнул из их рук и упа́л на мостово́ую, крича́ во всё горло, что скорéе умрú, чем сде́лаю еще хоть шаг к на́шему переу́лку. Так как я был босо́й, я не мог очень сильно лягáться, но всé-таки довóльно удачно отбива́лся от свойх неприятелей.

Оба мальчи́ка бы́ли в отчáянии. Нíзкий измéнник Джéрри побледнё́л от злости. Хотя́ он был извéстен своéй трúсостью, но тут на него́ вдруг нашёл припáдок хráбрости. Он повернúлся к

¹ Шíллинг (англ.) — серéбряная монéта, равная полтáннику.

своему противнику и со всего размаха ударил его кулаком по лицу. Мальчик стоял секунду неподвижно, ошеломленный ударом, и пристально смотрел на Джерри, потирая ушибленный нос. Потом вдруг одним прыжком бросился на Джерри, повалил его на землю и принялся колотить изо всех сил.

Несчастье моего врага было так приятно мне, что я, забывая об опасности, несколько минут любовался этой сценой. Однако в голове моей мелькнула мысль: «Пока они дерутся, мне надо спасаться!» Я в ту же секунду вскочил на ноги и с быстротой молнии пустился бежать, пока мои противники были друг друга, валяясь в грязи среди улицы.

IV

Я пробую лаять.—Мои новые знакомые

Я побежал назад, в ту сторону, откуда пришел, и снова очутился в Смитфилде, в той части рынка, где провел большую часть дня. Никто не гнался за мной, и на базаре было еще темнее и тише, чем полчаса назад, когда я ушел оттуда. Теперь я уже знал, что возвратиться домой — безумие. После разговоров между Джерри Пепом и его товарищем я не сомневался, что и отец и миссис Берк страшно рассержены на меня. Отцу так хотелось расправиться со мной поскорее, что он даже обещал целий шиллинг тому, кто меня поймает. Для него это были большие деньги: на шиллинг он мог купить себе три кружки пива. Но если я не вернусь домой, что же мне делать? Где я буду спать?

До сих пор я всегда спал на кровати. Было не очень удобно, но все же это была кровать. А теперь... Неужели мне ночевать там, где я сижу? Впрочем, почему бы не так? Я хорошо поужинал, а ночь не особенно холодная. Одну ночь можно переспать. Свернуться здесь в уголке, да и заснуть! Светает теперь рано, и тогда...

Тогда... да, что же я буду делать тогда? Прежде чем ложиться спать, соображу, за какую работу взяться, и завтра с

утра́ поищу́ себé заня́тий. За каку́ю же рабо́ту мне взя́ться? Коне́чно, за ла́ине! Пойдú зáвтра на како́й-нибуль ры́нок, вы́смотри там разно́бчика подобре и предложу́ ему́ свой услу́ги. А что, е́сли го́лос мой окáжется недостаточно звóнким? Нáдо попробовать!

Бы́ло ещé не поздно, всего́ деся́тый час, и я удалíлся в сáмую середи́ну свиного рýда, чтобы нача́ть там свой упражнёния.

Какие цветы и плоды я бúду продава́ть? Из цветóв вернéй всего́, что желтофиóли, — тепéрь их много́го покупа́ют.

— Желтофиóли! Свéжие, души́стые желтофиóли!

Гóлос мой показáлся мне довóльно грóмким, но всé-таки вы́ходи́ло не так, как у насто́ящих разно́бчиков. Нáдобно было по-бо́льше протяну́ть «о-фиó-ли». Попробуем ещé раз:

— Желто-о-фиóли! Свéжие, души́стые желто-о-о-фиóли!

Так бы́ло горáздо лúчше. Я с чéтверть ча́са ходíл взад и вперёд по тёмному рýду и грóмко торговáл желтофиóлями. Я кричáл «го! го!» воображáемому ослу, перевозившему корзíны с цветáми, и почтительнo обращáлся к воображáемому хозя́ину за мéлочью. Выучившись вполнé удовлетвори́тельно прода́вать желтофиóли, я принялся за землянику. Оказáлось, что вы́крíкивать землянику труdnéе.

— Земляника слáдкая, земляника сочная, купите землянику! — кричáл я на рáзные голосá и всé не мог попа́сть в тон.

Наконéц, после мнóжества повторéний, я наловчýлся выкrýкивать землянику как бúдто бы совсéм хорошо. Тут я замéтил, что за углóм склáда притайлись два ма́льчики. Мне сейчás же предста́вилось, что э́то Джéрри Пеп и его́ противник, что, окончив свою бýтву, они́ согласíлись дéйствовать заодно́ против менé. В ту мину́ту, когда́ я повернúлся к ним, один из них вы́скочил из своéй засáды и схвати́л менé за вóлосы.

— «Земляника слáдкая! Земляника сочная!» — закричíл он, передráзнивая менé и дёргая за вóлосы при кáждом слóве. — Чего́ ты тут кричíшь? Как ты смéешь поднимáть шум на базáре, когда́ тебé давно́ порá лежа́ть у себá на кровáти, а?

Он подражáл гóлосу и жéстам рассéрженного полицéйского.



Хотя он пребольно таскал меня за волосы, но, повернувшись к нему, я почувствовал радость. Это не Джерри Пеп и не его соперники, это другие мальчики! Значит, они не потащат меня домой!

— Слышишь, мальчик? — продолжал шутить мой «полицейский». — Иди сейчас домой, не то я сведу тебя в полицию!

— Сами вы идите домой! — отвечал я, вырываясь из его рук. — Чего вы сами не идете домой? Что вы ко мне пристали?

— Да мы и то идем домой, — отвечал другой мальчик, хохотав-

ший над проделкой товарища. — Мы были в театре, а теперь возвращаемся домой. — Потом, обращаясь к своему спутнику, он прибавил: — Пойдем, в самом деле, Моулди! Мы этак и к ногам не доберемся до Вестминстера¹.

Я несколько раз бывал с отцом на рынке Ковентгэрен и знал, что рынок находится или в самом Вестминстере, или окрест него, но дороги туда я не мог найти и решал расспросить мальчиков.

— В какой части Вестминстера живете вы? — спросил я у мальчика, сказавшего последние слова.

— Конечно, в самой лучшей, — отвечал он.

— А близко от вас до Ковентгэрдена?

— До театра Ковентгэрен? — спросил Моулди. — Помилуйте, в нашей коляске минуты две езды, и мы с Рипстоном всегда берем себé там самые дорогие места! Пряда ведь, Рипстон?

— Полнό тебе пустяк болтать, — остановил его Рипстон. — Мы живем, правда, близко и от рынка Ковентгэрдена и от театра. Живем в Дельфах. А ты, мальчуган?

¹ Вестминстер — центральная, аристократическая часть Лондона.

«Не всё ли равно, где я живу? — подумал я. — В Ковент-Гардене я найду себе такой же удобный ночлег, как и в Смит菲尔де. Если я пойду туда с этими мальчиками, они покажут мне дорогу, и я буду завтра вовремя на месте».

— Пойдемте, — сказал я, — ужέ поздно.

— Да ты куда же идешь? — с удивлением спросил Мобулди.

— Я иду с вами, — смело отвечал я.

— Да ведь мы идем в Дельфы.

— И я туда же.

— Разве ты живешь в Арках?

— В каких Арках? Вы сказали — в Дельфах?

— Ну да, Дельфы, или Арки, — это ведь все равно.

— Ах, я не знал! Да я и не мог знать, я ведь никогда там не бывал.

— Никогда не бывал! Ты же сказал, что живешь там?

— Нет, я никогда не живу, у меня нет никакой квартиры.

— Ну, уж это пустяк! — вскричал Мобулди. — У всякого человека есть квартира. Где же твоё старое жильё?

— Где моё жильё?

Мне не хотелось рассказывать этим незнакомым мальчикам про все свои дела, но они пристали ко мне с расспросами, и я не мог больше скрывать от них, что я бездомный бродяга. Впрочем, им, кажется, не опасно открыться. Они, повидимому, живут сами по себе и, может быть, даже помогут мне пристроиться и найти работу.

— А вы обещаете, что не выдадите меня, если я вам все расскажу? — спросил я.

Они торжественно заверили меня, что не способны на такую низость.

— Ну, вот видите... я жил дома, с отцом, там я и спал до сего дняшней ночи.

— И ты убежал? И не хочешь возвращаться домой?

— Я никогда не возвращусь! Мне нельзя возвратиться, — с убеждением отвечал я.

— Понимаю, — сказал Мобулди. — Ты что там такобе стибрил?

— Как — с т й б р и л?
— Ну стащил, укрáл. Тебя́ поймáли? Или тебе́ удалóсь благополúчно улизнúть?

— Как — поймáли? Яничéго не укрáл, я прóсто бежáл оттого, что менé там бýли.

Мáльчики недовéрчиво переглянúлись.

— И неужéли ты в сáмом дéле тóлько оттого убежáл, что тебе́ бýли? — спросил Рýпстон.

— «Тóлько»! Если бы вам задавáли такóго трезвóну, вы не говорíли бы «тóлько»!

— А тебе́ давáли там обéдать и всé такóе?

— Давáли.

— И у тебе́ былá настóящая постéль с простынями, с одеýлом, с подúшкой?

— Конéчно.

— Каковó! Он ешé говорит: «конéчно»! — вскричáл Рýпстон. — И неужéли, ты дýмаешь, мы повéрим, что ты бróсил всé — и едý и постéль — и убежáл из дóму тóлько оттого, что тебе́ бýли! Ты прóсто лгунíшка.

— Или набýтый дурáк! — решítельно сказál Мóулди.

— Не вéрьте мне, если не хотíте, — проговорíл я. — Тóлько я сказál вам сúшую прáвду.

— Что же, мóжет, онó и так, — замéтил Рýпстон. — На свéте случáются стрáнные вéщи... Тóлько вот я тебе́ что скажú, мáльчик: кто бежít из хорóшей квáртиры да от хорóшей еды тóлько потому, что его́ бýют, тогó и стóит оставить без квáртиры и без еды, покá он нау́чится ценить их!

— Пусть бы менé бил кто-нибудь с утrá до вéчера, — замéтил Мóулди, — тóлько бы дал мне порýдочное жильё.

— Ну, ему́ это бýло бы невýгодно, Мóулди, — смея́сь, отвеча́л его́ товáрищ. — Нет, я не вéрою, что э́тот мáльчишка убежáл от побóев. Он, должно быть, обокráл или поджёг когó-нибудь, тóлько не хóчет признáться: бóйтся, что мы выdадим. Онó и по-нáтно: ведь он нас не знаёт.

Разговáривая таким образом, мы шли вперёд очень скóро. Впрóчем, нам приходíлось чáсто останáвливаться, так как у

Мóулди то и дéло пáдали с ног егó огрóмные сапогí. Мы проходíли по такíм тёмным, извíлистым переúлкам, каких я в жíзни не вíдывал. Дáже днём путешéствие по этим úзким, мрачным переúлкам не могло быть прийтно. А тепéрь былá ночь, тёмная ночь, и я чuvствовал, что кáждый шаг удаляет менá от дóма. Мой домáшняя жизнь былá очень горькá, но всё-таки, по словáм моих спútников, я был дурáк, что бросил её. Я начинáл чuvствовать раскáяние, и слёзы вýступили у менá на глазáх. Мы шли всé дáльше и наконéц очутýлись на ширóкой, освещённой яркими фонарýми úлице.

v

Арка

Бýло ужé пóздно, около одýннадцати часóв, но на úлице толпíлось мнóжество нарóду. Нас толкали на кáждом шагу, и мы с трудом пробирáлись вперёд.

— Идём скорéй! — замéтил Рýпстон, оборáчиваясь ко мне. — Тепéрь нам ужé недалеко.

Это замечáние обráдовало менá. Когдá мы вýшли на ширóкую свéтлую úлицу, я подýмал: «В каком прекрасном мéсте живут мой спútники, и с каким удовольствием я сам стал бы жить здесь!» Но затéм менá взялó раздúмье. Онí сказáли, что идут домóй, в своё жилище, а менá с собой не звáли. Пожáлуй, онí войдут в тот дом, где живут, а менá останутся среди úлицы. Словá Рýпстона: «Пойдём, тепéрь уж недалеко», обóдрили менá; я решýл, что, знáчит, онí приглашают менá к себе.

Вдруг оба мой спútника исчéзли. Кудá онí девáлись? Мóжет быть, я обогнáл их, сам того не замечáя? Хотя это бýло неправдоподóбно, но я всё-таки поверотýл назáд, громко клича их по именам. Никтó не отвечáл мне. Я побежáл опять вперёд и изо всех сил крикнул: «Рýпстон!» Нет отвéта.

Отчáяние опять овладéло мнóю. Мóжет быть, мáльчики нарóчно сыграли со мной эту злóю шúтку? Им не хотéлось идти со мной, и онí бросили менá среди úлицы. Мóжет быть, онí

завелі меня совсём не туда, где находится Ковентриарден, и я от него ещё дальше, чем был до встречи с ними? Все эти мысли были так печальны, что я не мог совладать со своим гроем. Я прислонился к фонарному столбу и начал громко плакать. Вдруг я услышал знакомый голос:

— Смитфилд, где ты?

Меня не звали Смитфилдом, но так называлось то место, где меня встретили мой товарищи, и они, не зная моего настоящего имени, прозвали меня так. Голос, услышанный мною, был голос Моулди, я в этом не сомневался.

— Я здесь! — отвечал я. — А вы где?

— Мы здесь. Разве ты не видишь?

Я не видел никого. Голос выходил словно из-под земли. Рядом с теми лавками, перед которыми я теперЬ очутился, тянулась невысокая стена. В стене, возле самой земли, были проделаны круглые дыры, которые вели куда-то вглубь. Не оттуда ли доносился ко мне этот голос?

Вдруг кто-то схватил меня за руку.

— Это ты, Моулди? — спросил я.

— Конечно, я, — нетерпеливо отвечал он. — Иди же, если хочешь идти!

И Моулди ввёл меня в одну из тех круглых пещер, которые были в стене. В лицо мне пахнуло сырым и холодным воздухом. Вокруг было так темно, что за два шага ничего нельзя было разглядеть. Пройдя метров десять в том ужасном проходе, который, как звериная нора шёл вглубь, я почувствовал такой страх, что принуждён был остановиться.

— Вы здесь живёте, Моулди? — спросил я.

— Здесь, внизу, — отвечал он. — Надобно ещё немножко спуститься. Идём, чего ты бойишься?

— Да здесь так темно, Моулди...

— Ты, верно, привык спать на пуховиках, а мы не так избалованы. Идём, не то пусты мою руку, не задерживай меня!

Я изо всех сил уцепился за его руку. Я не знал, что делать. Он, должно быть, почувствовал, как дрожала моя рукा.

— Погоди, чего тут бояться, малютка! — сказал он почти



лáсково. — Пойдём скорéй, там мы найдём фургóн и́ли телéгу и охáпку солóмы — бўдёт на чём прилéчь.

Я пошёл с ним дáльше в тёмный, сырóй прохóд. Прохóд ётот так крúто спускался вниз и был тако́й скользкий, что, будь я в башмакáх, я, навéрно, раз дéсять упáл бы. Я старáлся обóдить себá, дўмая о том, как недúрно бўдёт в концé ётого прохóда найти телéгу с солóмой, о которой говорил Мóулди, и улéчся на ней. Како́й добрый мáльчик Мóулди, что так гостеприимно предлагáет мне разделить с ним постéль! Мы спускались всё нíже и нíже, а вéтер, дўвший нам в лицó, становился всё холдине. Наконéц мы дognáли Рíпстона. Он заворчáл на нас, что мы так замéшкались, и предскáзывал, что тепéрь не найдётся ни однóй пустóй телéги.

— Кудá мы идём? — спросíл я несмéло. — Кудá ведёт эта дорóга?

— В рéку, если идти всё прáмо, — смея́сь, отвечáл Рíпстон.

— Чегó ты егó пугáешь? — доброду́шно вмешáлся Мóулди. — Да, Смýтфилд, дорóга ведёт в рéку, если идти по ней всё прáмо, но мы не пойдём прáмо, мы свернём в стóрону.

Я не пóмнил себá от стрáха и шёл вперéд потому, что если бы я вздúмал воротиться, то не нашёл бы дорóги. Кругом было попрéжнему темно. Мóулди вёл менé за руку, а Рíпстон шёл сзади, напевáя какýю-то весёлую пéсенку. Мы свернúли в стóрону и спустíлись вниз по лéстнице. Дойдя до сáмой нíжней ступéни, Мóулди сказал:

— Ну, вот мы и пришли! Рип, возьмí егó за другúю рóку, а то он наткнётся на чо́-нибудь и разобьёт себé голову.

— Поднимáй ноги, Смýтфилд, — посовéтовал мне Рíпстон. — Да кóли настúпишь на чо́-нибудь тёплое, мя́гкое, не дўмай, что э́то мýфта, не трóгай, не то, пожáлуй, уку́сит!

— Кто уку́сит? — боязливо спросíл я, раскаиваясь, что не остáлся ночевáть в свином ряду.

— Кто? Кры́са! — отвечáл Рíпстон, вíдимо наслаждáясь моим стрáхом. — Тут бéгают громáдные кры́сы, с доброй кошку величинóй.

— Пóлно болтáть пустякí!
Идí вперёд! — остановíл товá-
рища Мóулди.

Кудá мы попáли? Темно и
страшно. От кирпíчных стен ва-
лít густóй пар, это вíдно при
мерцающем свéте сáльных огáр-
ков, рассéянных там и сям.
Одíн из такíх огáрков прилá-
жен к стенé на стáром ножé со
штóпором шагáх в двадцатí от
лестницы, по которой мы спу-
стились. Свет егó пáдает на
грáзного, обóрванного старика,
который чýнит сапóг. Старик
сидít на крýшке рыбной корзí-
ны. Рабóчими инструмéнтами емú слúжат стáрая столóвая
вýлка и кусóк бечéвки. Провертéв вýлкой дырú в сапогé, ста-
рик заостряет губáми конéц бечéвки и дéржит развалившийся
сапóг побlíже к огáрку, чтобы лúчше разглядéть, кудá попáсть
бечéвкой. На носу у него очки или, лúчше сказать, мéдная опrá-
ва с одníм стéклышком. Рýки у него дрожáт так, что, дáже
выíсмотрев дýрку, он не сráзу мóжет попáсть в неё бечéвкой.
Огáрок, освещáющий старика, бросáет свет тákже на передóк
повóзки, в которой сидят нéсколько мáльчиков и кидаюt комкí
грáзи в свечу стáрого сапóжника. Комок грáзи попáл старику
в лоб.

— Ха, ха, ха! Смотрай, Смýтфилд! — засмеялся Мóулди. —
Слáвная штýка! Поделóм старику.

— Отчего поделóм? Что он им сдéлал? — спросíл я.

— О, он такóй жáдный! — отвечáл Мóулди. — У него, гово-
рят, зарýто под этими камнями много дéнег, много золота и
драгоцéнных камней. Эх! Хорошо бы нам найти их!

В эту минúту мéтко пýщенный комóк грáзи вышиб сапóг из
рук старика — только что емú удалóсь продéть бечéвку сквозь
дýрочку. Тepéry он поблзal на четверéньках, отыскивая на полу.



сапог. С повозки, в которой сидели мальчишки, раздался дружный хохот.

— Дёточки! Дайте мне, пожалуйста, кончить работу! — просил старик. — Мне осталось сделать стежков шесть-семь, и я отдам вам свою свечку. Можете тогда играть в карты или во что хотите.

— А ты нам спой, дядя, песню! — раздался голос из повозки. — Тогда мы не будем тебя трогать.

Старик запел дрожащим голосом, стараясь воспользоваться перемирием, чтобы кончить работу. Когда он пропел первый куплет и дошел до призыва, мальчики хором подтянули ему. В эту самую минуту ловко пущенный комок грязи совершиенно залепил одинокое стеклышко на очках старика. Другой комок свалил свечку на пол. В телеге поднялся смех еще громче прежнего.

— Идем, — сказал Мобулди, — нечего нам тут стоять. Наш фургон¹ там, в заднем конце.

Крепко держась за Мобулди, я последовал за своими товарищами. Оба они, видимо, совершиенно привыкли к этому месту. Они ловко пробирались вперед, между тем как я беспрестанно натыкался на оглобли повозок, которые трудно было различить в темноте. Одна только свеча бедного старика могла скользко-нибудь освещать пространство. Все остальные огарки были окружены толпами мальчишек и взрослых, которые, присев на сырому полу и на кусках соломы, играли в карты, курили трубки и ругались самыми гадкими словами. Наконец мы остановились.

— Стой, Смитфилд, вот наш фургон! — сказал Мобулди.

Я ничего не видел, но слышал, что Мобулди лежит по спицам колеса.

— Ну что, каково там? — спросил Рипстон.

— Отлично! — отвечал Мобулди с фургона.

— Ну, полезай, — сказал мне Рипстон. — Становись ногой на колесо, я тебя подсажу.

¹ Фургон — большая крытая повозка.

Он действитель но подсадил меня, да так энергично, что я упал на четвереньки на дно повозки.

— Ты сказал: отлично, — проворчал Рипстон, также влезая в телегу, — а соломы тут и нет!

— Ни крошки! — подтвердил Моулди.

— Я так и знал! — продолжал ворчать Рипстон. — Я как только ступил на колесо, так сейчас почувствовал, что в этой телеге возили сегодня уголь.

— А ты бы, — заметил Моулди, — написал перевозчику, чтобы он перестал возить уголь, занялся бы перевозкой мебели, да оставил бы всякий вечер хорошую охапку соломы, не то мы переменим квартиру.

— Это еще ничего, что соломы нет, — проговорил Рипстон. — Главное, неприятно, что проклятая угольная пыль постоянно лежит в нос и в рот.

— Ну как тебе здесь нравится, Смитфилд?

— Мы здесь ложем спать?

— Это и есть наша квартира. Милости просим, будьте как дома! — любезно проговорил Моулди.

— А где же ваша постель? Ведь есть же у вас постель?

— Еще бы! Перина, набитая лучшим пухом, и целая куча подушек и простыни! У нас все есть, только вот беда: не знаю, куда все это девалось!

И Моулди принял шарить по повозке, как будто отыскивая пропавшую вещь.

— Эх! — сказал он потом. — Толкуй ты нам о постелях! Вот наша постель! — И он стукнул каблуком о край повозки. — Жесткая она тебе кажется, так полезай вниз, там много мягкой грязи!

— Не слушай его, Смитфилд, — заметил Рипстон. — Сегодня здесь хуже, чем всегда, потому что нет соломы. А когда есть солома, здесь очень хорошо. Придешь сюда этак в холодную ночь, думаешь: какой ты несчастный, опять будешь спать на голых досках! Вдруг, смотришь, в повозке целый ворох славной сухой соломы, в которую хоть с головой зарываешься.



И при воспоминáии об э́той рóскоши Рýпстон причмóкнул языком так аппетítно, тóчно хлебнúл лóжку горячего, вку́сного сúпу.

— А вам не хóлодно, когдá вы раздевáетесь? — спросíл я.

— Не знáю, — кóротко отвéтил Рýпстон. — Никогдá не прóбовал.

— Я раздевáлся в послéдний раз в прошлом áвгусте, — ска-зál Мóулди. — Однáко порá спать, давáй ложйтесь. Кто бўдет подúшкой? Смýтфилд, хóчешь ты?

Я был до тогó несчáстен, что мне казáлось всё равнó, чем ни быть, и потому я согласýлся.

— Да ты, мóжет, не хóчешь? Так ты скажй, не стесняйся! — замéтил Рýпстон. — Ведь э́то как кто лóбит! Одномý нráвится, чтóбы бýло мягко, другóму — чтóбы бýло теплó. Тебé что лúчше?

— Я люблю, чтóбы мне бýло и теплó и мягко, — со слезáми отвечáл я.

— Ишь как! И то и другóе! — усмехнúлся Мóулди. — Ну, слúшай: хóчешь быть подúшкой, так полезáй сюдá и не жнычи! Нам плакс не нýжно! Напráсно мы взяли тебя с собой!

Я поспешíл увéрить Мóулди, что плачу потому, что не могу

удержа́ться от слёз, но что я гото́в быть поду́шкой, е́сли он мне покáжет, как э́то дéлается.

— Тут нéчего покáзыывать, — отвечáл Мóулди смягчив-
шись. — Поду́шка — тот, кто ложíтся вниз так, что другиé кла-
дут на него́ голову. Ему́ от них теплó, а им мягко; э́то и прóсто
и удóбно.

— Ну, прочь с дорóги: я бýду поду́шкой! — вскричáл Рýп-
стон и лёг в однóм концé фургóна. — Ложíтесь на менé!

— Ложíсь, как я, Смýтфилд, — сказáл Мóулди, уклáдыва-
ясь спать.

Но подражáть его́ примéру бы́ло довóльно трúдно: он за-
хвати́л для себя́ всё тýловище Рýпстона, а мне предо́стáвил
однí ноги. Роптáть бы́ло бесполéзно, и я постара́лся устроиться
кое-кáк.

— Ты хóчешь спать, Рип? — спроси́л Мóулди по́сле нé-
скольких минút молчáния.

— Хочу́. А ты?

— Я никогдá не могу́ спать по́сле таки́х сражéний. Пред-
стáвь себé, что на твой корáбль наскáкивают трóе разбóйников,
а на тебе́ всегó рубáшка, штаны да два ножá и никакого другó-
го ору́жия!

— Да, слáвные штúки представля́ют в теáтре! — прогово-
рил Рýпстон сónным голосом. — Спокóйной нóчи!

Опять наступи́ло молчáние, и опять Мóулди прервáл его:

— Ты спишь, Рип? Рип. Слýшишь, спишь?

— Ну, уж другóй раз не замáнишь менé в поду́шки, е́сли
бýдешь э́так болтáть! — сердítо отозвáлся Рýпстон. — Чегó те-
бе нáдо?

— Стáрный ты человéк! Ты не люби́шь лежáть и разговá-
ривать о том, что вýдел.

— Из-за э́такой-то глúости ты менé разбуди́л?

— Я хотéл тóлько спроси́ть у тебе́: как ты дóмаешь, раз-
бóйники бróсили в колóдец настóящее téло?

— Конéчно! Я вýдел рýки сквозь дýрку в мешкé, — на-
смéшливо отвечáл Рýпстон.

— И ты дóмаешь, там был настóящий глубóкий колóдец?

— Ещё бы! Конечно.
— А я не слышал, как плеснула вода, — настаивал Моулли.
— Ты плохо слушал. Колодец-то ведь глубокий, сразу не услышишь, а я услышал уже через три минуты.

Моулли замолчал, но он дышал очень тяжело. Видно, что ему хотелось поговорить. Он попробовал покликать Рипстона, но тот вместо ответа громко захрапел. Он позвал меня, но мне не хотелось разговаривать, и я притворился, что сплю.

А на самом деле мне не спалось. Прижалвшись мокрой от слез щекой к коленям Рипстона, я думал о своем прошлом, о бегстве из дома и о том, что ожидает меня в будущем. Лучше бы я выдержал потасовку миссис Берк! Лучше бы я вернулся домой, когда Джерри Пеп схватил меня! Отец отстегнул бы меня ремнем, но теперь все было бы уже кончено, я лежал бы в теплой постели и барабанил бы маленькой Поль. Конечно, боль от побоев еще не прошла бы, но в эту минуту я готов был вынести всякое мучение, только бы меня перенесли в наш переулок, в дом № 19, и простили бы мне все мой прегрешения.

Бедная маленькая Поль! Я не мог думать о ней без слез, а между тем она не выходила у меня из головы.

Может быть, она ушиблась о каменные ступени лестницы и теперь лежит в комнате одна без движения, мертвая... Эта последняя мысль была так ужасна, что остановила мои слезы. Я вспомнил свою мать, вспомнил тот вечер, когда она умерла, и тот день, когда ее похоронили.

Вдруг послышались тяжелые шаги. Подростки и мальчишки, игравшие в карты, бросились к фургонам, кричали:

— Тушь свечи! Идут крючки!

Я знал, что крючками называют полицейских, и мне вдруг стало страшно. Наверно, миссис Берк донесла полиции о моем побеге, и теперь меня разыскивают! Зачем я не леж подушкой! Тогда бы меня не видно было из-под других. Шаги приближались. Трое полицейских подошли к нашему фургону. Я задрожал всем телом, и на лице у меня выступил холбный пот. Один из полицейских вскочил на колесо и осветил наш фургон ярким светом фонаря.

Но вот он соскочил вниз, и я вздохнул свободнее. Он ушлй все трое, разговаривая о своих делах, и шум их шагов слышался всё слабее и слабее. Мало-помалу все звуки стихли, кроме храпения спящих и писка крыс. Я заснул.

VI

Товарищество „Рипстон, Моулди и К°“

Я спал крепким сном, когда «подушка» вывернулась из-под меня и голова моя ударила о дно повозки. Я протёр глаза и заметил, что Моулди уже встал. Кругом было полутемно; мне казалось, что полицейский осветил нас фонарём всего минут пять назад. Я чувствовал себя усталым и измученным, как будто совсем не спал, и потому без дальних рассуждений опять свернулся в углу, подложив себе руку под голову.

— Чего же ты, Смитфилд? — вскричал Рипстон. — Поворачивайся! Разве ты намерен целый день сидеть здесь?

— Да теперь ещё не день, — проворчал я. — Какой же день, когда так темно!

— Глупости ты говоришь! Вставай и смотри, как светло! Солнце ужे взошло. Полезай сюда, так сам увидишь!

Кругом всё было темно; но там, куда указывал Рипстон, видно было что-то, с первого взгляда похожее на блестящий серебряный шар. Присмотревшись лучше, я понял, что это просто круглое отверстие, в которое врывается солнечные лучи. Через это светлое отверстие видна была вода реки, подёрнутая мелкой рябью и сверкающая под лучами солнца. Виден был клочок голубого неба и нагруженная сеном барка, медленно двинувшаяся по течению.

— Пойдём, — сказал я, перекидывая ногу за стеньку фуры¹, — пойдём туда, где светит солнце. Чего нам сидеть здесь в темноте!

— Всякий идёт, куда ему дорога, — ворчливо отвётил Моулди. — Иди туда, если хочется!

¹ Фуры (фура) — длинной телеги.

- А вы с Ри́пстоном разве не пойдёте?
- Мы пойдём туда, куда всегда ходим, — в Ковентгáрден.
- Что нам делать около реки?
- Может быть, он идёт собирать кости, — заметил Ри́пстон.
- Хорошее дело! Получать по мёдному грошу за фунт, да ещё когда наберёшь этот фунт? А лодочники приколотят. Они думают, что всякий идёт на берег воровать уголь. Ты за костями, что ли, Смитфилд?
- Нет, я этого дела не знаю.
- Так что же ты думаешь делать?
- Мне всё равно. Мне надо только чтоб-нибудь заработать себе на хлеб. Я думал взяться за лаянье. Ведь это хорошо, а?
- Оба мальчика переглянулись и засмеялись.
- С чего это ты вздумал? — спросил Мóулди. — Разве ты уж у кого-нибудь взял лаяль?
- Нет, я так только — пробовал, учился. Помните, вчера на рынке?
- В самом деле? Э, да у тебя славный голос!
- Мне было очень приятно слышать эту похвалу.
- Значит, ты думаешь, — спросил я у Мóулди, — мне удастся найти себе хозяина и заработать этим хлеб?
- Хозяина ты, может быть, найдёшь, — отвечал Мóулди, — а уж насчёт хлеба... — Он сделал выразительный жест рукой. — Мы попробовали это дело, да и многие наши знакомые мальчики пробовали — ничего в нём хорошего нет... Правда, Рип?
- Ещё бы! — подтвердил Ри́пстон. — Что за жизнь? Встанишь поутру, ещё совсём темно, должен везти тележку на базар, потом присматривать за тележкой, пока хозяин закупает разные разности. Если он торгует овощами, надо их мыть и раскладывать, а потом шляться целый день и кричать по улицам.
- Вечером, — подхватил Мóулди, — весь товар сложат в одну корзину, и опять надо бегать с ним да орать, пока не погаснут огни во всех домах. И за всё это что ты получишь?
- Только что покормят!
- И кормят-то не всегда, — прибавил Ри́пстон.

Это было далеко не утешительно. Я надеялся сдёлаться лаятелем, и эта надежда заставила меня бросить отцовский дом и потом идти за Рипстоном и Моулди к Ковентгэрудену. А вот теперь оказывается, что два мальчика уже пробовали заниматься лаянием и бросили это дело, так как оно оказалось невыгодным.

— Чем же вы добываете себе хлеб? — спросил я у своих товарищей.

— Чем добываем? Разными разностями, — отвечал Моулди.

В это время мы все трое шли по тому узкому проходу, через который вошли вчера ночью.

— Мы глядим в оба и что попало, то и хватаем, — пояснил Рипстон.

— Значит, у вас ничего нет определённого?

— Э, нам нельзя быть разборчивыми! — сказал Моулди. — Иной раз так хорошо, что сидим себе да поедаем жареную свинину, а другой раз куска хлеба не достанем. Всё дело счастья.

— И мы не знаем, когда подвернётся счастье. Вот хоть, например, вчера вечером. Целый день мы не добывали ничего. Не завтракали, не обедали — не ели ни крошки. Нашли в сёрной куче несколько кочерёжек капусты, вот тебе и вся еда! Моулди уж рукой махнул. Говорят: «Пойдём под Арки спать, что тут шляться!» А я говорю: «Попробуем ещё немногого; коли ничего не будет, пойдём». Только что я это сказал, вдруг, слышим, кто-то кричит: «Эй!» Видим, стоит какой-то джентльмен¹, хочет нанять карету. Моулди побежал, привёл карету; джентльмен дал ему шесть пенсов да извозчик один пенс. Вот мы и разбогатели: пять пенсов проели, а за два сходили в театр. Мы часто бываем в театре. А ты когда-нибудь видал представление, Смитфилд?

— Я видел только в балагане.

— О, это совсём не то! Мы ходим в настоящий театр, где дают славные пьесы: «Капитан-вампир», «Смерть разбойника», «Пират пустыни», «Окровавленный бандит»...

¹ Джентльмен (англ.) — господин.

В это вре́мя мы вы́шли на набережную. Там бы́ло оче́нь ти́хо, на часах только что прόбило пять.

Мо́улди останови́л нас.

— Слúшай, — сказа́л он мне. — Прéжде чем идти́ да́льше, ты до́жен решить́: пойдёшь ты вниз к рекé эли в Ковентгáрден со мной и Рýпстоном?

— Да я бы лúчше с вáми пошёл, е́сли бы вы позвóлили.

— Чегó тут позволять! Всáкий мо́жет идти́ кудá хóчет. Ты, гла́вное, приду́май, за каку́ю рабóту ты возьмёшься.

— Я не зна́ю никакой рабóты. Я совсéм оди́н, я не зна́ю, за что взя́ться, — отвечáл я. — Я бы хотéл идти́ с вáми, чтобы вы менé научíли.

— Да ты как хóчешь? — спроси́л Рýпстон. — Рабóтать сам по себе́ эли идти́ с на́ми в до́лю?

— Я бы лúчше хотéл идти́ к вам в до́лю, — с рáдостью ухвати́лся я за э́то вы́годное предложéние.

— Ну хоро́шо, так ты и во всём до́жен быть с на́ми в до́ле, — сказа́л Рýпстон. — С на́ми и рабóтать, и есть, и жить!

— Конéчно.

— Зна́чит, ты пойдёшь с на́ми и бúдешь дéлать то же, что мы? — сказа́л Мо́улди.

— Всё, что найдёшь, всё, что полу́чишь — всё бúдешь отда́вать нам,ничего́ не истра́тишь без нас?

— Никогдá! Я зна́ю, что э́то нехоро́шо.

— И е́сли тебá пойма́ет поли́ция, ты не вы́дашь нас, чтобы самому́ вы́вернуться из беды?

— Лáдно! Не вы́дам!

Я на всё соглаша́лся, хотя́ не вполнé понимáл, чегó от меня́ тре́бовали.

— Ты бúдешь нам вéрным товáрищем, не стрúсишь, не изме́нишь?

— Никогдá!

— Ну, так по рукáм! Мы товáрищи. Пойдём и прýмемся сейчás же за рабóту.

Судьба́ мой бы́ла решенá. Цéлый день и цéлую ночь менé не было до́ма, тепéрь я и дúматъ не смел о возвращéнии домо́й.

Крóмē тогó, жизнь, котóрую велí мой нóвые товáрищи, казáлась мне горáздо прийтнее моéй домáшней жýзни: их никтó не бил, они дéлали что хотéли, éли иногдá свинýну, котóрой мне никогдá не давáла мýссис Берк, и дáже ходíли в теáтр. Эти мысли занимáли менé, покá мы дошли до Ковент-гáрдена.

Мы не вошли в крýтую часть базáра, а стáли ходíть по окráинам, где нагружáлись телéжки и тáчки. Мы дóлго ходíли таким об-разом, и я ужé хотéл спросить, когдá же начнётся наша рабóта, как вдруг Рýпстон отбежál от нас и кíнулся к человéку, стоявшему с пódнятым пáльцем пóдле грýды салáта.

— Кудá он пошёл? — спросил я.

— На рабóту, — объясníл мне Мóулди. — Ты вíдел ýтого человéка, что стоял с пódнятым пáльцем? Это знáчит — емý нúжен был мáльчик. Если бы он пódнял два пáльца, — знáчит, рабóта для взрослого. Рýпстонова рабóта даст нам кóфе. Если мы с тобóй что-нибудь добúдем, мы кúпим бúлок, а то кóфе без бúлки — плохóй зáвтрак. Ты смотрí в óба, Смýт菲尔д!

Я смотрéл во все стóроны, но никтó не поднимáл пáльца.

Минút чéрез двáдцать мы подошли к кофéйной, недалекó от базáра. Тудá же пришёл и Рýпстон. Он зарабóтал полторá пénса, и мы решíли, не ожидáя, покá добúдем себé на хлеб, тóтчас же напítесь кóфе. В кофéйной нам дáли по чáшке слáбого, но очень горячего кóфе. Выйшив егó, мы почúвствовали се-бáя горáздо бодréе и пошли опять искáть рабóту.

Нáши поиски на ýтот раз оказáлись неудáчными. Мы исхо-дíли овощной рынок вдоль и поперёк, мы побываáли во всех



закоулках фруктового базара, но работы себе не нашли никакой. Я не унывал, видя, что Рипстон и Моулди спокойно и весело прохаживаются взад и вперед, нимало не огорчаясь нашим несчастьем. Часов в десять утра мы оставили базар и пошли глухими улицами и задворками к Дрюри-Лейну:

— Ну что, Смитфилд? — спросил у меня Моулди. — Нравится тебе быть с нами в доле?

— Нравится, — отвечал я, — только жалко, что сегодня у нас было так мало удач.

— Ну, не особенно мало, — заметил Рипстон. — Тебе, кажется, Смитфилд, было очень хорошо?

Я принял это за шутку и отвечал, смеясь:

— Конечно, мне вездে хорошо! Так же, как и вам!

Весело и беззабочно шли мы по улице до входа в какой-то грязный переулок. Здесь товарищи мой остановились.

— Ну, Смитфилд, — сказал Моулди, — выкладывай!

— Что такое выкладывать? — с удивлением спросил я.

— Э, да все, что у тебя есть! — сказал Рипстон. — Тот старик, с которым мы ведем дела, живет здесь.

Я решительно не понимал, чего хотели от меня мой товарищи. Моулди принял обыскивать меня и обшарил все мои карманы. Когда он убедился, что они пусты, лицо его выразило сильнейшую ярость.

— Вот так товарищ у нас! — вскричал он, обращаясь к Рипстону. — Славный товарищ, ничего сказать!

— Да в чём дело? — спросил Рипстон.

— У него нет ничего, решительно ничего! Хоть бы какая дрянная луковица!

— И это ты называешь быть нашим товарищем? — с укором спросил у меня Рипстон. — Хорош гусь, ничего сказать!

— Что же мне было делать, — оправдывался я, — если я никогда не мог найти работы? Ведь вы знали, что денег у меня нет. Да если бы и были, я скорей купил бы себе хлеба, чем луку.

Я никогда в жизни не видел лица сердитее того, с каким

обратился ко мне Мóулди, выслушав мой объяснения. Гнев его был так силен, что он не мог произнести ни слова.

Рýпстон засмеялся.

— Ну, не злись так, Мóулди, — сказал он. — Смýтфилд ещё глуп. Смотри сюда, Смýтфилд!

С этими словами он вынул из кармана своей куртки семь отличных яблок. Затем показал мне карманы своих штанов: карманы были полны орехов.

— Зачем же это ты купил столько яблок и орехов? — спросил я.

. — Зачем? Чтобы перепродать их. Я ведь торгую ими.

— Да когда же ты покупал? Я не видел...

— И тот торговец, у которого я покупал, тоже не видел: он в это время занимался с другими покупателями, и я не хотел отрываться его от дёла. Понимаешь?

Я начинал понимать, и мне становилось страшно. Я боялся даже высказать свой догадки, чтобы не вышло какого-нибудь недоразумения.

— Э, что с ним толковать! — вскричал Мóулди. — Он не понимает твоих намёков. Смотри сюда, Смýтфилд! Видишь эти яблоки и орехи, которые добыл Рýпстон? Ну, он стащил, украл их! Понимаешь? Теперь смотри сюда! Вот это украл я и очень жалею, что мне не удалось стащить побольше. Теперь мы идём в этот переулок продавать украденное наими. Получим деньги и купим себе съестного.

Грубое признание Мóулди поразило меня.

— Ну, чего же хныкать? — насмешливо вскричал он. — Неужели ты воображал, что мы тихие, скромные мальчики?

— У тебя есть семья, — сказал Рýпстон, — ты можешь вернуться домой, когда хочешь. Ты ведь не обязан есть тот пудинг, который мы купим тебе, потому что этот пудинг достался нам нечестным путём. Иди добывай себе хлеб как знаешь!

С этими словами они отвернулись от меня и вошли в переулок, оставив меня одного.

Я начинаю работать

Я стоял на улице и должен был, как сказала Рипстон, добывать себе хлеб. Я мог убежать домой. Правда, я не знал туда дороги, но я мог расспросить у прохожих. Вполне честный мальчик не остановился бы ни перед какими трудностями. А разве я не был честен? Я ночевал, я провёл всё утро, я завтракал вместе с ворами, но это мучило меня, краска бросалась мне в лицо при одной мысли об этом. Отчего же я не шёл домой? Чего я ждал? Это может спросить только тот, кто не попытал, что такое голод, страшный голод, который мучает мальчика, мало евшего накануне и с утра проглотившего всегд одину чашку жидкого кофе без булки, — страшный голод, от которого по всему телу распространяется дрожь, цепенеют руки и ноги.

Мысль, что Мouldи и Рипстон воры, была ужасна, но мой голод был не менее ужасен. Рипстон сказала, что я могу не есть их пудинга, если не захочу; значит, если захочу, они дадут мне поесть. И какой это, должно быть, чудный пудинг! Я его знаю, он продаётся во всех съестных лавках. Его делают из муки, из почечного сала и из чего-то ещё необыкновенно сытного. Он такой горячий, что греть руки, пока не положишь в рот последнего куска. Его обыкновенно режут большими-большими кусками, и каждый кусок величиной с кирпич.

Картина такого огромного горячего, вкусного куска пудинга носилась у меня перед глазами, когда я увидел, что Рипстон и Мouldи возвращаются из переулка. Я спрятался за фуру с мешками муки и следил за ними.

— Ну вот, — весело говорил Рипстон, — наконец-то мы можем позавтракать!

— Да, славные денежки дал нам старик за яблоки и орехи! — ответил Мouldи, весело подбрасывая и ловя на лету пять или шесть пенсовых монет.

— Но куда же запропастился Смиф? Надо позвать его!

И Рýпстон свýстнул.

Но я прижáлся плóтно к колесý, и онý прошлý мýмо, не замéтив менá. Я перешёл дорóгу и стал следить за нýми.

— Вот и лáвка Блýнкинса! Зайдём и кúпим себé две побрции пúдинга, Рип. Пускáй этот дурачýна Смиф голодáет, е́сли емý нráвится.

Мóулди вошёл в лáвку и чéрез нéсколько секунд вышел оттуда, неся на листé цéлую грúду тогó сámого пúдинга, о котóром я мечтáл.

— Слáвно пáхнет! — сказал Рýпстон, вдыхáя душýстый пар, распространяvшийся вокrýг.

Я перешёл на ту стóрону ýлицы и пошёл за нýми; я был довольно далекó, однáко мог ясно вíдеть, как Рýпстон взял одиn из больших ломтéй, поднёс его ко рту и откусýл от него кусóк... ах, какóй большóй кусóк! Я подходíл к ним всé ближе и ближе, наконéц так близко, что мог слýшать, как онý едáт. Я слýшал, как Рýпстон втáгивал и выпускáл воздух, чтобы оступить зáбранный в рот слíшком горýчий кусóк. Когдá он поворáчивал гóлову, я дáже вíдел удовóльствие, блистáвшее в его глазáх.

Когдá онý начали есть, на капúстном листé бýло всегó пять ломтéй; тепéрь кáждый из них ужé доедáл по вторóму.

— Люблю я пúдинги Блýнкинса! — сказал Рýпстон. — В них так много сáла!

— Это прáвда, — отвечáл, облýзываясь, Мóулди. — Онý всé равно что с мясом.

— Мне уж, пожáлуй, и довóльно, — замéтил Рýпстон. — Пúдинг такóй сýтный!

— Конéчно, не ешь насильно, — засмеялся Мóулди, — я и одиn спрáвлюсь с послéдним куском.

Я не мог выéдержать.

— Мóулди! — восклíкнул я, положíв рýку на егó плечó. — Дáйте мне кусóчек!

— А, э́то ты? — вскричáл Мóулди, уви́дев менá. — Что, вéрно, бéгал домóй посмотрéть, не прýмут ли назáд, да тебá выгнали?



— Или ты, мόжет быть, ходíл на базár и выдал нас? — спросил Рýпстон.

— Никудá я не ходíл, я всё шёл слéдом за вáми. Дáйте мне кусóчек, бúдьте так дóбры! Если бы вы знали, как я гóлоден!

— А рáзве ты не знаешь, что красть нехорошó? — подсмéивался безжálostный Мóулди, засóвывая в рот послéдний кусóк своегó вторóго ломтý. — Как же ты хóчешь, чтобы я кормíл тебя ворóванной едóй? Ты ещé, пожáлуй, подáвишься.

— Мы же решíли, что всем бúдем делíться, — сказал я, вýдя, что мне не разжáлобить Мóулди.

— Да, конéчно, я и тепéрь не прочь от э́того, — возразíл он. — Но ты хóчешь есть с нáми пúдинг, а не хóчешь с нáми ворóвать. Так нельзя... Не прáвда ли, Рип?

— Да он прóсто, мόжет быть, не понял, в чём дéло, — замéтил Рýпстон, который был горáздо добрéе своегó товáрища. — Если бы ему хорошéнько всё объяснить, он, мόжет быть, и не сплошáл бы... Прáвда, Смýтфилд?

И Рýпстон дал мне послéдний, оставшийся у него кусóчек пúдинга. Что э́то был за кусóчек! Никогдá в жýзни не ел я ничего подóбного. Такой тéплый, вку́сный! А на ладóни Мóулди лежáл на капúстном листé дымáщийся ломótъ, из которого могло выйти по краиней мéре дéсять такíх кусóчков.

— Так как же, Смýтфилд?

Мóулди ужé подносíл ко рту послéдний кусóк. Рýпстон знáком остановíл его. Кто съест э́тот кусóк? Всё завýсело от моего отвéта. А я со вчерáшнего зáвтраканичегó не ел, кроме скúдного úжина.

— Конéчно, — смéло отвечáл я, — я бы не сплошáл.

— Зна́чит, тепéрь, когдá ты зна́ешь, в чём дéло, ты не стáнешь плошáть?

— Не стáну.

— Ну и отлýчно... Дай емú э́тот кусóк пúдинга, Мóулди. Он, ка́жется, ужáсно гóлоден.

— Нет, постóй, — возразíл Мóулди. — Я не бўду есть э́тот кусóк, — он спрýтал егó в кармáн кўртки, — но пусть Смýтфилд прéждé зарабóтает егó и докáжет, что говорит прáвду. Пойдём.

Мы пошли назáд в Ковентгárден. Я держáлся поблýже к то́му кармáну Мóулди, где лежáл пúдинг, и не отставáл от товáрищей.

Когдá мы подошли к рýнку, Мóулди огляде́лся кругóм.

— Вíдишь там ларёк... мéжду столбáми, где стойт человéк в сýнем перéднике? — спроси́л он менá. — Там расстáвлены корзíны с оréхами.

— Вíжу.

— В пéрвой корзíне миндáльные оréхи. Идí тудá, мы по-дождём тебя здесь.

Я понял, чегó трéбовал от менá Мóулди. Он хотéл, что́бы я пошёл и наворовáл из корзíны оréхов. Я ужé решíл, что приобрету себé пóрцию пúдинга во что бы то ни стáло, и не колебáлся, хотя сéрдце моё сýльно бýлось, покá я подходíл к ларьку. С э́той стороны ларёк был завáлен грúдами цветной капúсты и зéлени. Подойдя поблýже, я понял, что мне нýжно обойти́ егó кругóм и приблíзиться к оréхам. Я притайлся за грúдой ка-пúсты; продавéц оréхов разговáривал с покупáтелем, повернувшись ко мне спинóй.

Жéнщина, торговáвшая капúстой, тákже сидéла спинóй ко мне. Онá обéдала, держá свою тарéлку на колéнях. Корзíна былá дóверху напóлнена оréхами. Я запустíл рýку раз, другой, трéтий, насыпал себé полный кармáн и затéм, выскочив из узкого прохода, в котóром стóял, пошёл к Мóулди и Рíпстону, выглýдывавшим из-за столбá.

— Слáвно, Смýтфилд! — восклýкнул Мóулди. — Я всé вý-дел. Ты напráсно уверéешь, что не зна́ешь дéла. Молодéц! Вот тебе твой пúдинг!

— Мне бы так чисто никогда не сработать! — заметил Рипстон.

— Тебе? — с презрением вскричал Моулди. — Да если ты воображаешь, что ты можешь своровать хоть в четверть так хорошо, как Смитфилд, так ты ужасный хвастун! Я бы сам не сумел стащить орехи так ловко, как он. Но, конечно, в других вещах ему со мной не сравняться, — прибавил он, вероятно боясь, чтобы я не слишком возгордился.

Всё шло хорошо, пока было светло, но когда наступила ночь и я снова очутился в тёмном фургоне, я начал чувствовать сильнейшие угрызения совести. На этот раз Моулди был подушкой, и мне предоставили лучшее место. Я лежал головой у него на груди и всё же не мог заснуть. Я сдался вором! Я украл миндалевые орехи, я убежал с ними, продаил их и истратил вырученные деньги! Все мои жилы напряглись и болели, беспрестанно повторяя мне ужасное слово «вор». «Вор, вор, вор!» — твердил мне сердце, и я ни на минуту не находил себе покоя.

— Вор! — прошептал я.

Моулди ещё не спал.

— Кто вор? — спросил он.

— Я вор, Моулди, — отвечал я.

— Ну, а кто же тебе говорят, что ты не вор? — насмешливо спросил Моулди.

— Но ведь я никогда прежде не был вором, — серьёзно сказал я. — Уверяю вас, никогда! Оттого-то мне так и грустно теперь.

— Ты врешь, — произнёс Рипстон, также ещё не спавший.

— Нет, право, — уверял я. — Умри я на этом месте, если не правда!

— Ну что же, — заметил Моулди, — ты точно так же и теперь можешь сказать: умри я на этом месте, если я вор!

— Нет, этого я не скажу, а то, пожалуй, и в самом деле умру. Ведь я теперь вор.

— Пустяки! Какой ты вор! — вскричал Моулди. — Разве то, что ты сегодня сделал, можно называть воровством? Это совсем не воровство.



— А что же это такоё? Мне всегда говорили, что брать чужое — значит воровать.

— Это говорят люди, которые сами не пробовали и потому не понимают, — сказал Моулди, приподнимаясь на локте, чтобы удобнее обсудить интересный вопрос. — Вот видишь, если какой-нибудь мальчишка войдёт в лавку да запустит руку в ящик с деньгами и его поймают, это будет воровством. Если он полезет в карман к покупателям — это также воровство. За это отдаст под суд, и судья гляжет, что это воровство. Ну, а если какой-нибудь маленький мальчишка старается заработать себе полпенни, да его поймают с чужими орехами или с чужими яблоками, разве ты думаешь, его будут судить? Никогда! Просто купец даст ему подзатыльника и самое большое, если позвоет сторожа. Тот поколотит его палкой, да и отпустит; а разве сторожу позволили бы самому расправиться с настоящими ворами? Ни за что!

— Если брат орехи и другое веши не называется воровать, так как же это называется? — спросил я у Моулди.

— Мало ли как! Это называется стащить, взять... Да не все ли равно, как называть!

— Ну, а если бы я спросил у полицейского, как бы он это называл?

— Вот выдумал! Кто же станет спрашивать у полицейских? Известно, какие они лгуны! — возразил Райстон.

— Признается, Смитфилд, что ты просто тренируешься, — сказал Моулди.

— Нет. Но мне думалось, что это — воровство, а если не воровство, так и прекрасно.

— Тот же! — сказал Моулди. — Когда я был маленький и жил дома, я нередко слыхал, как отец читает матери газеты. Вот и в газетах часто говорится, что даже судебные — на что хитрые люди, а и те должны быть осторожны, должны называть все как следует. Если кто не пойман на настоящем воровстве, они не смешут называть его вором. Они говорят, что он «присвоил», совершив «похищение» или «спутовал». А похищение

не беда. Воц Рýпстон стащил раз чайные ложки, так его засадили в тюрьму на две недели... Правда, Рýпстон?

— Нéчего тыкать мне этими ложками в глаза! — сердито отвечал Рýпстон. — Я знаю ребят, которым доставалось, побольше двух недель, да еще и розги впридачу, я только не болтаю всегó.

Намéк этот, видимо, относился к Мóулди, который обиделся и называл Рýпстона бродягой. Впрочем, они скоро помирились, поболтали еще несколько времени о том о сём, и оба спокойно заснули.

Но я опять, как и в прошлую ночь, долго не мог заснуть. Рассуждения моих товарищей не убедили меня. Может быть, похищение орехов не называется воровством, но, во всяком случае, я не хотел заниматься ничем подобным. Я собирался завтра же утром объявить Мóулди и Рýпстону, что буду честным мальчиком и стану просто работать на рынке. Если они не хотят оставаться моими товарищами, я уйду от них. Приняв это решение, я заснул.

Проснувшись на следующее утро, я почувствовал себя уже несчастным. Мне было холодно, зубы у меня стучали, я готов был отдать всю одежду за глоток горячего кофе.

У Мóулди были деньги на кофе. Вчера вечером он подержал лошадь одному господину, зашедшему в ресторан поесть юстици, и получил шесть пенсов. Четыре пенса мы истратили на жин, а два оставили себе на завтрак.

Мы вышли на улицу, дрожа от холода. Моросил дождь. На мостовой было мокро и грязно. Мы не успели еще дойти до кофейной, как я почувствовал, что моя рубашка и штаны промокли насквозь и прилипли к телу. Я не забыл своего вчерашнего решения уйти от этих воришек и все собирался с духом, чтобы сказать им об этом. Но как я мог собраться с духом? Я был голден, я промок до костей, я чувствовал, что буду совсем одинок и беспомощен, если поссорюсь с моими товарищами.

— Три чашки кофе на два пенса! — потребовал Мóулди у буфетчика.

Все было кончено. Если бы этот кофе принадлежал кому-ни-

будь другому, я, пожалуй, сказал бы, что хочу уйті, но я не мог, принимая угощёние Моулди, попрекать его тёмным промыслом.

Прежде чем мы дёпили кофе, Моулди сказал:

— Ну, нечего прохлаждаться! Сегодня нам будет много дёла. Знаешь, Смитфилд, в хорошую погоду всякий сам бегает по своим делам, а в дурную все норовят как бы кого-нибудь нахватать для беготни.

Это оказалось верным. Дождь лил всё утро, и работы у нас было вдоволь. Я заработал одиннадцать пенсов, Рипстон — шиллинг и полтора пенса, а Моулди — девять с половиной пенсов. Меня очень радовало, что я добыл больше Моулди. Хотя я промок до костей и сильно порезал себе пальцы на ноге, наступив на разбитую бутылку, но я чувствовал себя необыкновенно счастливым, посматривая на свой деньги, добытые честным трудом. Рипстон и Моулди, заработав себе достаточно на пропитание, также не стащили ни одного яблока на базаре.

— Вот, можно сказать, честно поработали утро! — сказал, принимая от нас деньги, Моулди, который всегда был нашим казначеем.

— Это лучше, чем добывать разные вещи дурным манером да продавать их, — осмелился заметить я.

— Ещё бы! Конечно, так больше добудешь.

— Мне бы хотелось, чтобы меня заставляли работать, а не... делать другое, — сказал я.

— Кто же тебя заставляет? Беда в том, что нельзя всегда одним заниматься. Порой так плохо придается, что недолго и с голоду помереть. По-моему, надо браться за всё, что попадёт под руку.

Рипстон был совершенно согласен с мнением своего товарища.

Мы пошли в дешёвую столовую, очень весело пообедали, отложили себе денег на ужин, и у нас ещё осталось шесть пенсов. На эти шесть пенсов товарищи решили купить мне сапоги. Мы пошли в лоскутный ряд и купили несколько широкую, но очень удобную обувь.

Собачонка.—За мною следят.—Неприятная ночь

Жизнь наша была, в сущности, довольно однообразна. Каждый день мы вставали с рассветом, ходили по одним и тем же улицам и переулкам и исполняли одну и ту же работу. Когда работы не хватало для нашего пропитания, мы воровали разную мелочь из одинаковых и тех же корзин и продавали её одному и тому же старику, а затем обедали. Иногда мы угощались свининой, а иногда целый день должны были питаться куском чёрного хлеба. Иногда находили в своём фургоне солому, иногда должны были спать на голых досках.

Когда я убежал из дома, у меня было мало надежды; всего пара штанов, одна рубашка и рваная, старая куртка. Теперь рубашка и штаны у меня были новые, а куртку заменило нечто вроде сюртучка. Шестипенсовые сапоги мой очень скоро развалились, и я попрежнему ходил босиком, так как у нас не хватало денег для покупки новой пары обуви.

Я познакомился с Рипстоном и Майлзом в половине мая, а теперь была уже половина октября. В течение осени я раз семь или восемь побывал в театре, и это доставило мне величайшее удовольствие. Раз мне пришлось провести ночь в полицейском участке.

Вот как это случилось. Возвращаясь домой под Арки, мы заметили маленькую собачку, бежавшую за нами следом.

— Пойди прочь! — ворчал Майлз. — Некогда нам возиться с тобой!

Он поднял камень и бросил в собачку.

— Как тебе не стыдно, Майлз! — добродушно заметил Рипстон. — Пускай себе бежит.

— Рип, возьмём её с собой, — сказал я. — Мы можем принять её в нашем фургоне и даже покормить; она, верно, бездомная.

Ночью я проснулся от резкого света фонаря, направленного мне в лицо. Около нашего фургона стоял полицейский, держа на руках приведённую собачку.



— Это ты укрáл собачонку, мошённик?! — закричáл полицéйский, грубо хватáя менé за руку.

— Онá самá пристáла ко мне, сэр, — отвéтил я, дрожá от страха.

— Знаем мы это «самá пристáла»! — передразнил менé полицéйский и вытащил за шиворот из фургбна.

Я горько плáкал.

— Ничегó, не беспокóйся, Смиф, — утешáл менé Рипстон. — Я вýручу тебеá.

И он действительно спас менé от грозившей мне тюрьмы.

Он расспросиýл, чья это собáчка,

прáмо отпра́вился в дом к её хозяевам и рассказáл им всё дёло. Собáчка принадлежáла больной дóчери городского дóктора.

В середíне слéдующего дня менé вýзвали в приёмную кóмнату участка. Грúстная молодáя жéнщина, сидéвшая там, подозвалá менé к себé и спросиýла:

— Это ты тот мáльчик, который приютýл вчerá мáленькую собáчку?

— Я, — отвéтил я, не знáя, пугáться мне ѻли ráдоваться.

— Тебé сейчас вýпустят отсюðа. Я пришлá похлопотáть за тебý и поблагодарить за свою мáленькую дóчку. Онá больна и не моглá заснýть: всё плáкала о своéй собáчке. Тепéрь ей стáло немного лúчше. Спасибо тебé. Не сердíсь, что из-за нас ты провёл ночь в полицéйском участке.

И онá лáсково поглáдила менé по головé.

Выходя из участка, я прýгал от ráдости, ощúпывая в кармáне монéту в пять шíллингов, которую онá мне далá.

Пять шíллингов! Это бы́ло такóе богáтство, какóго наша

мáленькая компáния никогда ещё не получáла срáзу. Решено было вдóвль насладиться им. Мы пообéдали в хорошей столóвке, выпили по крúжке пíва и развеселились так, что решили ехать в теáтр в омнибусе, платя по два пéнса за мéсто. От выпитого пíва Рýпстону и Мóулди сдёлалось дýрно; нас вывели из теáтра в половíне пье́сы, и мы должны бýли вернуться домой пешкóм по дождю, не имея ни пéнса в кармáне.

Раз ýтром, недéль чéрез пять после моего побéга из дома, я встрéтил на базáре одного нáшего сосéда.

«А! — закричáл он. — Вот ты и попáлся, негодáй! Сейчáс я отведу тебá к отцú».

И он хотéл схватить менá, но мне удалось увернúться. Пóсле этого я стал внимáтельнее прéжнего посматривать по сторона́м, боясь встрéтить отца. Товáрищи, которым я подрóбно опíсал его наружность, усéрдно помогáли мне.

На слéдующее ýтро, часóв в семь, Мóулди указáл мне на двух мужчýн, шéдших от фруктового рýда. Я тóтчас узнал тóго человéка, который чуть не поймáл менá вчera, и отца. Отéц был очень блéден — вýдимо, сильнo взволнован, а в рукáх держáл большо́й кнут, который, вероятно, достáл у кого-нибудь для этого слúчая. При однóм взгляде на него колéни мой затряслись и гýбы задрожáли.

— Рип, голубчик, спаси менá! — проговорíл я, прýчась за спину товáрища. — Видишь, какой он сердítый и какой у него кнут...

Рýпстон попáтился, подвёл менá таким образом к грúде пустых корзин и прикрыл менá ими, а сам сел на опрокýнутое лукóшко и принялся как ни в чём не бывáло чистить и есть моркóвку. Чéрез нéсколько секунд подошёл отéц.

— Слúшай-ка ты, мальный, — обратился он к Рýпстону, — не видáл ли ты тут на базáре мальчика в стáрой курточке? Рóсту он бýдёт вот этакого.

Я вýдел сквозь щéли корзíны, как отéц указáл мой рост.

— А как его зовут? — спросил Рýпстон, продолжая жевáть моркóвь.

— Джим.



— Джíма я знаю. Он та-
ко́й тóлстый, си́льный, слáвно
дерётся на кулачкáх, любóго
мужчи́ну свáлит.

— Эх ты! — нетерпелíво
отозвáлся отéц. — Я спраши-
ваю тебе́ о ма́леньком ма́ль-
чике, лет ётак восьмý.

— Восьмý... — мéдленно
повторíл Рíпстон. — А его
точно Джим зовут?

— Да, конéчно! Его зовут
Джим Бáлизет.

— Джим Бáлизет! —
вскричал Рíпстон, точно

вдруг вспомнил. — Знаю, знаю! Мы его прозвали Ра́узер, отто-
го я и не мог вдруг вспомнить. Он жил где-то около Кáу-Крóс-
са, и отéц у него, кáжется, разносчик?

— Ну, он и есть! Где же он?

— Отéц ещё злой тако́й? Чáсто стега́л Джíма ко́жаным
ремнём?

— Он это рассkáзывал? Экий неблагодáрный мальчи́шка!

— И у него есть еще ма́чеха, ётакая гáдина, ёбедничает на
нем, пьёт вóдку как вóду...

— Где он? — заревéл отéц. Он бро́сился на Рíпстона и
тряхну́л его за шíворот так си́льно, что корзíны чуть не разле-
тéлись в ра́зные стороны.

— Пустите, так скажу́, а то не скажу́! — крикнул Рíпстон,
и по тóну его гóлоса мне показáлось, что он в сáмом дёле хóчет
выйдáть менá.

— Ну, говори! — сказа́л отéц.

— Сказáть вам прáвdu, он пошёл в грúзчики.

— Когдá, кудá?

— Этого я не знаю, — угрю́мо отвеча́л Рíпстон. — А тóль-
ко вчера́ вéчером оди́н мой знакóмый встрéтил его на Вестмíн-
стерском мосту́, да и спрашивает: «Ты что здесь дéлаешь, Ра́у-

зэр, разве на базаре нет работы?» А Рэузер и говорит: «Нет уж, говорят, я на базары больше не стану ходить, там меня выселил отец, а я пойду к одному своему знакомому барочнику, который живет на Уенсвортской дороге, да и поступлю к нему в грузчики». Вот, больше я ничего не знаю.

— Проклятый мальчишка! — вскричал отец. — А не говорил он, когда он думает воротиться?

— Не знаю... Да вряд ли он вернется! Он все говорит, что хочет в море уплыть, — отвечал Рипстон. — Попадет теперь на реку, увидит там корабль и все так же, и поминай его, как звали!

— Это верно, — сердито сказал отец. — Пойдем, Джек, — обратился он к своему знакомому. — Чего нам гоняться за этим негодяем? Пусть он потонет в море, бродяга!

И, сунув кнут подмышку, отец ушел вместе с приятелем, а Рипстон помог мне выбраться из моего убежища.

После этого мне ни разу не случалось встречаться ни отца, ни кого-нибудь из своих прежних знакомых.

Вскоре я захворал.

Хотя я держался на ногах и не жаловался, но я уже давно чувствовал себя не совсем здоровым. И это не удивительно. Осень стояла очень дождливая, платье не высыпало на мне по несколько дней кряду. Я не мог не только просушить его, но даже снять на ночь. Несколько раз я чувствовал сильную боль в горле и в спине между лопатками. Целых две недели меня мучила зубная боль. Это было ужасно. Я не мог съесть куска хлеба, не размочив его сперва в воде, я не мог разжевать ни ракушки, ни кочережек, часто составлявших наше единственную питание, и принужден был голодать, пока какой-нибудь счастливый случай не давал мне возможности купить себе мягкую пищу в булочной или в съестной. Я целые ночи просиживал без сна в уголке фургона, покачиваясь из стороны в сторону и не смыкая глаз от боли, к досаде моих товарищ.

— Чего ты хрюкаешь, Смиф? Не мешай нам спать! — ворчал Рипстон.

— В самом деле, Смиф, какой ты несносный! — прибавлял

Мóулди. — Не тóлько не помогáешь раздобывать пропитáние днём, но ещё надоедаешь по ночам.

— Но что же мне дёлать, Рип? — плáкал я. — Вы óба стáли бы добрее ко мне, если бы сáми промúчились стóлько врéмени, как я.

— Нáдо ему кák-нибудь помóчь, Мóулди, — сказáл Рýпстон, разжáлобленный мойми слезáми. — Позовём стáрого скрипачá, который ночуёт в сосéднем фургóне. Мне говорíли, что он умеет рвать зúбы. По-моему, лúчше сráзу вынести сильную боль, чем возйтесь с каким-то несчáстным зúбом цéлые недéли.

— Вот это дéло! — сказáл Мóулди и отпраvился за скрипачом.

Чéрез нéсколько минút онí вернулись óба. В рукé у скрипачá былá дли́нная ржáвая струна.

— Ну, бéдный мálый, — сказáл скрипáч, — садись и разевáй рот пошире, а вы, ребята, держите его за руки, чтобы он не меша́л мне работать.

Я повиновáлся, хотя сéрдце моё сильно стучáло от страха. Старик обмота́л струной мой больно́й зуб и... дёрнул её изо всей сíлы.

— А-a-a! — закричáл я, повалíвшись на спину.

Изо рта у менé текла кровь, но с зубно́й болью было покончено...

Нáши делá в Ковентгáрдене в послéднее врéмя шли всё ху́же и хúже. Нас там запримéтили, и э́то было очень невыгодно. Все знали, что мы воришки, и зóрко следíли за нáми. Чуть не кáждый день нас колотíл то какoй-нибудь торгóвец, то базáрный стóрож.

Рýпстону удалóсь открыть погреб, где хранилась на зиму моркóвь. Мы забрали́сь тудá и цéлую недéлю питáлись однóй моркóвью. Сначáла мы сочли э́то за большо́е счастье для себéй, но скóро уви́дели, что питаться однóй моркóвью очень врédно. Вероятно, онá и была отчасти причиной моей болéзни.

Обыкновéнно в воскрéсные дни, если погóда былá неплохáя, мы дóлго гуляли по бéрегу реки, а потóм ложились в свой фургóн и рассkáзывали друг дру́гу разные истории. В тот день, ко-

гда я заболéл, Рýпстон и Мóулди пошлý гулять, а я остался в фургóне. У них от вчерáшнего дня сохранилось несколько пénсов, и онý пообéдали хлéбом с пáткой; я же ничего не ел со вчерáшнего обéда. Я весь горéл и дрожáл, язык у менé пересóх, глазá болéли, голову ломýло, точно ктó-нибудь бил её коло-тúшками. На моё счастье, в фургóне было немнóго солóмы, и товáрищи предоставили её всю в моё распоряжéние. Но я никак не мог улéчься как слéдует: сколько я ни встрáхивал свою солóмennую подúшку, она всё казáлась слíшком нíзкой для моей отяжелéвшей головы.

К нóчи мне сдéталось ещé хúже. Я дóлжен был наэтот раз служить подúшкой, но Рýпстон великодúшно зáнял моё място, а Мóулди позвóлил мне положить голову к нему на колéни, хотя прáво выбирáть място принадлежáло ему, так как он был подúшкой накануне. Онý дáже леглý спать рáньше обычновéнного, чтобы я мог скорéе улéчься как слéдует. Но все забóты их бýли напрásны. Скóро Рýпстон замéтил, что головá моя жжёт его чéрез кóртку. Мóулди, вообще мáльчик крótкий, был ужáсно зол спросóнья. Он вдруг, ничего не говоря, удáрил Рýпстона по ногé.

— Ты чего́ это? — с досáдой спросил Рýпстон.

— А ты что не лежíшь смíрно? Дрыгает ногáми, точно тá-нец отплáсывает!

— Да рáзве это я! — вскричал Рýпстон. — Это Смýтфилд.

— Ты чего́ трясёшься, Смиф?

— Мне ужáсно хóлодно, Мóулди. Я прóсто как лёд холóдный.

— Хорош лёд! От него́ пýшет, как от пéчки. Пощúпай-ка, Мóулди, — сказал Рýпстон.

Мóулди приложил рýку к моей щекé.

— Вот тебе! Не смей лгать! — вскочил он и дал мне сильную пощéчину. — А расплáчешься, так я и другóю влеплю!

Я старáлся превозмóчь себá и не плаќать, но это бýло вы-ше моих сил. Цéлый вéчер удéрживался я от слéз, но выходка Мóулди прорвалá плотíну. Рыдáнья душíли менé, и слéзы по-лились из моих глаз так быстро, что я не успевал вытираТЬ их. Я как бýдто перепóлнился góрем, котóруму непремéнно надо

было излиться. Я плакал тихо, припав ко дну фургона, и товарищи могли заметить мои слёзы только по судорожным всхлипываниям, вырывавшимся у меня иногда. Когда я увидел отца с кнутом на Ковентгэренском рынке, я решил никогда не возвращаться домой. С того дня я даже не вспоминал ни о маленькой Польши, ни о домашней жизни, сердце моё замерло и очерствело. Теперь я почувствовал, что оно как будто оттается, становится мягче, и в то же время на него ложится тяжесть, которую я не в силах выносить.

У Мобулди, должно быть, тоже не хватало сил выносить мой плач. Исполняя своё обещание, он размахнулся ещё раз и дал мне пощечину сильнее прежней.

— Экий ты разбойник! — набросился на него Рипстон. — Бьёт бедного мальчика, который меньше его, да к тому же болен! Встань-ка, голубчик Смитфилд, помоги мне, мы ему зададим!

И, не ожидая моей помощи, Рипстон засучил рукава и принялся бить Мобулди. Мне не хотелось драяться, я старался примириять их, уверяя, что мне не больно, что я плаку не от пощечины, а от болезни.

Как только Мобулди совсём очнулся, он выказал полнейшее раскаяние. Он сознался, что поступил как негодяй и в виде удовлетворения предложил мне ударить его изо всей силы по носу, причём он будет держать руки за спиной. Рипстон убеждал меня принять это предложение, но я отказался, и тогда Мобулди заставил меня взять по крайней мере его шапку под голову и укрыться его курткой. Рипстон так же охотно отдал бы мне свою одежду, но у него была всего одна синяя фуфайка, заменявшая ему и рубашку и куртку, а шапку он потерял накануне, убегая от рыночного сторожа.

Хотя товарищи всеми силами старались уложить меня спокойнее и укрыть потеплее, мне не становилось лучше. Я по-прежнему весь горел и в то же время дрожал от холода, язык мой был сух, а дыхание прерывисто и тяжело. Впрочем, после слёз мне стало как-то легче, я готов был лежать спокойно и покоряться всему, что со мною сделают.

Я попадаю в работный дом¹

Мой болéзнь сильно тревóжила това́рищей. Укрýв менéй кúрткой и уложíв как мόжно спокóйнее, онí сáми не леглí, а сéли в дáльний угóл фургóна и начали перешéптываться.

— Этó, должно быть, простúда, — шептál Рýпстон. — Бедá, если на человéка нападёт простúда. Ведь это простúда, прáвда, Мóулди?

— Должно быть, что-нибудь такóе, — ещé тише отвечáл Мóулди.

— Хорошо бы горчíчники постáвить... Я помню, мне стáвили, когда я был мáленький... Как ты думаешь, Мóулди, не сходить ли за горчíцей?

— Чего ходить? Ведь сегóдня воскресéнье, все лáвки зáперты, однí аптéки открыты, а в аптéках горчíцы нет.

— В аптéке мόжно бы купить пилóли, — предложил Рýпстон. — Однá бедá: у этих пилóль такíе трúдные назváния — не знаешь, как спросить.

— Да так и спроси: пилóль на четыре пенса.

— А аптéкарь спрóсит: каких вам?

— Сказáть: слабítельных. Онí, кáжется, все слабítельные, — равнодúшно отвéтил Мóулди. Он вообще вёл разговóр неохóтно и, казáлось, думал о чём-то совсéм другóм.

— Значит, решено, Мóулди, — опять заговорил Рýпстон: — наш перýвый пенс зáвтра пойдёт на пилóли для Смýтфилда?

Мóулди ничего не отвéтил, онí оба на минуту смóлкли. Я лежáл тихо и вслúшивался в их шóпот. Сдérжанность Мóулди возбудíла подозрéние Рýпстона.

— Мóулди, — спросил он, — если это не простúда, то что же такóе у Смýтфилда?

— Почем я знаю! — неохóтно отвéтил Мóулди.

¹ Р á б óт n ý d óm — приóт для беднякóв, где за плохóю пýщу их заставляли выполнять тяжёлую рабóту. Бóлее подróбное описание смотрí в предисловии.

— Да ведь ты же был в больнице, ты видал так много больных. Может, с кем-нибудь было то же, что с ним?

— Тише, — заметил Моулди, — он, пожалуй, не спит.

— Спит. Слышишь, как он ровно дышит?

— Да. А слышишь, как под ним солома шуршит, — должно быть, опять озноб сдёлся. — Затём он прибáвил ещё более тихим шёпотом: — Жалко мне, что я отдал ему свою куртку, Рип. Шапка — не беда, а куртки жал!

— Экая ты жадная скотина! — выбранился Рипстон. — Он бы наверно отдал тебе свою куртку, чтобы тебе понадобилась!

— Ну, пусть пропадает, всё равно! — вздохнул Моулди.

— Отчего же пропадает? Ты ведь завтра возьмёшь её?

— Ну, нет, с ней вместе можно захватить такую вещь, которой бы мне не хотелось.

— Да что такое? Говори толком!

— Тише, тише! Коли он услышит, так перепугается.

Он тихонько приподнялся и высунули головы из фургона, но я все-таки слышал всё, что они говорили.

— У тебя привита оспа, Рип? — спросил Моулди.

— Привита, и свидетельство есть.

— Ну, и отлично: значит, тебе и бояться нечего. А у меня не привита, ко мне горячка как раз пристанет!

— Разве у него горячка? — испуганным голосом спросил Рипстон. — Значит, он умрёт, Моулди?

— Наверно.

— Вдруг, Моулди? Так вдруг и умрёт?

— Нет, не вдруг, — прошептал Моулди. — С ними там ещё прежде разные штуки делают, головы им бреют и всё такое.

— Это зачём же, Моулди? — с сильнейшим страхом спросил Рипстон.

— Да они совсем как сумасшедшие делаются. Если их не обрить, они себе все волосы вырвут, — отвечал Моулди.

— Ах, какая беда! Бедный Смитфилд умрёт! Бедняга Смитфилд!

И Рипстон заплакал. Я едва верил глазам своим, но это было правда: он плакал.

Я не испуга́лся и дáже не удиви́лся тому́, что у менá, по словáм Мóулди, былá горячка. Горячка былá сáмая хúдшая болéзнь, каку́ я знал, а я чу́вствовал себé очень, очень хúдо. Я знал, что горячка смертéльна, но дáже э́то не пуга́ло менá. Мне хотéлось одногó: чтобы менá оставили в покóе, чтобы никто не трóгал менá, не говори́л со мной. Рíпстон и Мóулди про-должáли шептáться в другом углу фургóна. Я слýшал их шó-пот и разговóры, смех и ругáтельства мáльчиков, игрáвших в карты, и тóпот ног, и всякие другие звуки. Понемнóгу всё стихло, только това́рищи мой продолжáли разговáривать. Я рад был, что онí не спят. Мне ужáсно хотéлось пить, и я попроси́л Мóулди достáть мне глотóк воды. Това́рищи всполоши́лись.

— Пóлно, дружище! — уговáривал менá Мóулди лáсковым гóлосом. — Как же я тебé достáну воды? Ведь ты знаешь, что у менá нет никакой посúды. Потерпí, полежí спокóйно до пя-ти часóв, тогдá придут перевóзчики, и ты мóжешь пить скóлько хóчешь.

— Ах, я не могу́ ждать до пя-ти часóв, Мóулди! Прáво, не могу́, я с умá сойдú! Не говори́ мне, чтобы я ждал до пя-ти!

— Ну хорошо́, я не бýду говори́ть, только ведь э́то прáвда, оттого́ я и сказа́л.

— А котóрый тепéрь час?

— Должно́ быть, óколо ча́су.

Менá мýчила страшная жáжда, а вóлны реки́ беспрестáнно ударя́лись о нижнюю часть стéны, óколо котóрой стоял наш фургóн. Я представил себé реку, како́й я ви́дел её утром после пéрвой нóчи, проведённой под Арками. Онá искрилась в солнеч-ных лучáх, и по ней тýхо плыла бárка с сéном. Мной овладéло непреодолимое желáние сойти вниз, к берегу, и напítся. Мне не нýжно было посúды, я мог прóсто свéсить голову вниз и пить прáмо из реки. Я поднялся и стал перелеза́ть чéрез стéну, фургóна. Бýло так темно, что това́рищи не могли ви́деть менá, но онí услýшали шорох, и я едва успéл перекýнуть однú ногу за край телéги, как Рíпстон крéпко схвати́л менá за другу́ю.

— Что ты, Смýтфилд? — вскричáл он испúганным гóлосом и чуть не со слезами. — Кудá э́то ты, голубчик? .

— За водой.

— Да ведь воды нет... Мóулди, иди, помоги мне! — с отчáянием вскричáл бéдный Рýпстон. — Нет воды, Смýти.

— Водá есть, — говорил я. — Я пойду к рекé и там напьюсь.

— Нет, не пить ты идёшь. Ты, вéрно, хóчешь топýться, ты ведь тепéрь всё равнó что сумасшéдший! — с отчáянием кричáл Рýпстон. — Мóулди, да полно тебе трусять, хватай его да помоги удержáть.

Но Мóулди не решíлся подойтý; он бóялся: ведь у него не привитá бóспа. Кróме тогó, ему казáлось, что в бéшенстве я могу укусить егó. Он начал со мной переговóры, не выходя из своегóуглá.

— Чего́это ты вскочил, Смиф? — говорил он успокойтельным гóлосом. — Вéдь ты этак разбúдишь все Арки. Ляг спо-
коинно, я сейчас добуду тебе воды.

— Ты ведь это врёшь, что принесёшь воды, — сказал Рýпстон. — Ты прóсто хóчешь удрáть и оставить меня одногó с ним!

Я дóмал то же, но мы были несправедливы к Мóулди. Он взял свою шáпку у меня из-под головы, соскочил с фургóна и чéрез несколько минút воротíлся с полной шáпкой свéжей речной воды. Пробира́ться в темнотé к рекé было небезопáсно.



Мóулди, однáко, посчастлíвилось совершить своё путешéствие благополúчно. Шáпка егó, хоть и стáрая, былá крепká и до тогó засáлена, что совсéм не пропускала воды. Я опорóжнил её пятью большýми глотkáми, и это питьё достáвило мне нескáзанное наслаждéние. В ту ночь мой маленькие товáрищи-обóрвыши положítельно спасли мне жизнь. Если бы они пустíли меня на бéрег, рéзкий холóдный вéтер с реки, навéрно, убýл бы меня. Пробирáясь в темнотé, я легкó мог поскользнúться и упасть в реку.

Утолив жáжду, я лёг и заснúл. Мне всё сníлись какíе-то отры́вки стрáнных и неприйтных снов, покá Рýпстон не потряс меня за плечо, говоря, что порá вылезáть из фургóна, что фургóнщик ужé пошёл за лошадьми. Я попробовал привстáть, но не мог. Я мог сидéть, но когда поднимáлся на ноги, колéни мой дрожáли, и я пáдал.

— Ну, ребята, — сказál фургóнщик, подходя к телéге, — вываливайтесь, нéкогда мне возиться с вáми!

— Да вот у нас тут одиn мáльчик не мóжет вывалиться, — сказál Мóулди, ужé выскочивший из фургóна.

— Что ты такóе говорýшь? Как это — не мóжет вывалиться?

— Вывалиться-то, пожáлуй, он и мóжет, только ему не вылезть. Он говорýт, что у него ноги отнялись. Не потрудитесь ли вы сáми высадить егó?

— Я его высажу так, что он дóлго менá не забудет!

С этими словáми сердítый фургóнщик быстро прýгнул в телéгу с фонарём в рукáх.

— Пощёл вон, лентяй! — закричал он на меня.

Но в эту минуту свет от егó фонаря упал на моё лицо, и он сráзу переменил тон.

— Бéдный мальчугáн! — вскричал он. — Давиб это с ним?

— Со вчерашнего вéчера, — отвечал Рýпстон, — да мы не знали, что ему так плохó.

— Где же он живёт? Нáдо свезти егó домóй, — сказál фургóнщик.

Мне вспомнилось сердítое лицо отца, когда я видел егó в

последний раз сквозь щели корзин на базаре. Я боялся его кнута, когда был здорово, а вернуться к нему теперь казалось мне совсм невозможным.

— Мальчик, где ты живёшь? Где твой дом? — спрашивал меня фургонщик.

Я ничего не отвечал, притворившись, что не слышу.

— Да вы, ребята, не знаете ли, где он живёт? — обратился он к моим товарищам.

Они это очень хорошо знали, но мы поклялись друг другу никому не открывать, где наши дома, и они не выдали меня.

— У него нет никакого дома, он живёт здесь, — сказал Мouldи.

— И отца с матерью нет, он сирота, — прибавил Рипстон.

— Несчастный! — сказал фургонщик. — Если оставить его здесь, он, наверно, умрёт. Свезу его хоть в рабочий дом. Хочешь в рабочий дом, мальчик?

Мне было всё равно, только бы не домой. Я был так слаб, что не мог говорить. На вопрос фургонщика я только кивнул головой. Добрый человек забодливо укутал меня в попону¹ своей лошади и, взяв лошадь под уздцы, вывез фуру из-под Арок. Рипстон всё время сидел рядом со мной в фургоне.

Mouldи, несмотря на свою боязнь горячки, не мог расстаться со мной, не попрощавшись. Я услышал, что он цепляется руками за задок фургона, и, взглянув в ту сторону, увидел его грязное лицо.

— Прощай, Смитфилд! — сказал он мне и затем обратился к фургонщику: — На нем моя куртка, так вы, пожалуйста, скажите в рабочем доме, пусть ее спрячут и отдадут ему, если он выздоровеет. Ну, прощай, голубчик Смиф! Не скучай!

И он исчез.

Рипстон долго оставался в фургоне. Наконец крепко пожал мою горячую руку, с любовью посмотрел на меня, плотнее завернув меня в попону, перескочил через задок фургона и, не говоря ни слова, ушел прочь.

¹ Попону (попона) — покрывало для лошади.

Я остаюсь в живых

Добрый фургёнщик привёз меня в рабо́тный дом. Там меня раздёли, обмыли и уложили в постель. Все говорили, что мне очень пло́хо; однáко — стрáнное дéло! — я не чу́вствовал себя особыенно дúрно. Я лежа́л очень спокойно и удобно, у меня ни-чего не болéло. Если бы кто-нибудь спросил меня, что лúчше: быть здорóвым под тёмными Арками или лежать здесь в горячке? — я, не задумавшись, выбра́л бы горячку. Да и чего было задумываться? Горячка не причиняла мне никакой боли. Я не испытывал и двадцатой доли тех страданий, какие перенёс от зубной боли в фургоне. Постель у меня была чистая и мягкая, лекárство не особыенно протíвное, а бульон, которым меня кормили, превосходный. И, однáко, все, да́же доктор, смотрели на меня как-то серьёзно, все подходили к моей постели осторожно и говорили со мной тихим, мягким голосом, точно думали, что я ужасно как мучаюсь. Не раз приходило мне в голову, что я, может быть, попал сюда по ошибке, что у меня совсем не та страшная болезнь, которую называют горячкой, что, как только ошибка откроется, меня тóтчас же выгонят прочь.

Не знаю, сколько времени пролежал я таким образом, но помню, что раз утром я проснулся гораздо бодрее, чем был на кануне. Все с удивлением глядели на меня. Сиделка, подавая мне завтрак, чуть не разлила его, начав что-то бормотать о лодях, которые спасаются от гроба. Надзорательница остановилась поздле моей постели и сказала:

— Ну, его, кажется, не скоро придётся хоронить!

Больше всех удивился доктор.

— Ай да молодец! — вскричал он. — Вот уж не ожидал, что он так ловко вывернется!

— Да, сэр, — заметила сиделка, — он, можно сказать, обманул свою смерть.

— Вот это верно, — засмеялся доктор, — он вправду обманул её! Вчера ночью жизнь его висела просто на волоске, а теперь каким молодцом глядит! Он, наверно, поправится. Мы

постáвим егó на ноги, прéжде чем ему придётся еще раз стричь волосы.

Я не совсéм понима́л весь э́тот разговóр, но пое́лédние словá дóктора удиви́ли менé. В пéрвый же день моего пребыва́ния в рабóтном дóме менé обри́ли так, что головá моя была́ совсéм гла́дкая, вóлосы мои дóлго не нúжно бúдет стричь; не-ужéли же я не вы́здоровлю рáньше э́того врémени? Должно быть, дóктор ошиба́ется.

Действи́тельно, дóктор ошиба́лся; хúдо бы́ло то, что и я тákже ошиба́лся. Вóлосы мой рослý очень мéдленно, но вы́здоровле́ние шло еще мéдленнее. Мóжно сказать дáже, что настóящие страда́ния мой начали́сь и́менно о́коло тогó врémени, когдá, по мнéнию дóктора, я дóлжен был бы бóдро стоя́ть на ногáх. На ногáх я, прáвда, стоя́л, тó-есть менé принужда́ли встава́ть, одева́ться и ходи́ть по палáте. Но я не чúвствовал себя ни бóдрым, ни весёлым. Аппетít у менé был хорóш, дáже сли́шком хорóш, так что я без труда́ мог съеда́ть втрóе бóльше скúдных больни́чных порций. Но мне бы́ло горáздо приятнее лежа́ть в горя́чке, когдá все за мной ухáживали и я мог скóлько хотéл нéжиться в постéли, чем слоня́ться из углá в угол, попадáясь всем и́бл ноги, беспрестáнно натыка́ясь больни́ми костя́ми на край кровáтей и на жéсткую мéбель. Однú недéлю у менé сде́лалась опухоль в ногáх, так что я не мог надéть башмакí, потóм у менé заболéли úши, потóм глазá, так что я дóлжен был ходи́ть с большíм зелёным козырьком. И всé врéмя я ужáсно скучáл, чúвствовал себя и несчáстным и сердítым. Кáждый скрип двéри раздражáл менé, рабóтный дом опротíвел мне. Я захотéл по-скорéе вы́здороветь, чтобы мне отдали моё плáтье и отпустíли менé на вóлю.

Я был вполнé увéрен, что ничего дру́гого со мной не сде́лают. Мне хотéлось тóлько одногó: чтобы к моему костю́му приба́вили рубáшку, шáпку и, пожáлуй, сапогí. Я дýмал, что могу́, когдá захочú, сказать: «Благодарíо вас, что вы вы́лечили менé, тепéрь я уйдú», и предо мной тóтчас же отвóрятся все двéри и мне мóжно бúдет идти на все четы́ре стороны. Кудá идти, об э́том я тákже не задумывался. Я, конéчно, возвращусь

под тёмные Арки к Рýпстону и Мóулди, которые очень обра-
дуются мне. Хотя я пользовался в рабóтном дóме и хорóшой
пýщей и хорóшим помещéнием, но я без всýкого стрáха дýмал
о возвращении к прéжней жýзни маленького бродяги. Мне
вспоминалось, как мы свободно расхáживали по ýлицам гóро-
да, добывáя и трáтя дéньги на что хотéли, мне вспоминались все
наши весёлые продéлки и я от душí хотéл поскорéе увиðеться
с Мóулди и Рýпстоном. В цéлом мýре о них однíх дýмал
я с любóвью. Мой роднóй дом как бýдто не существóвал для
меня.

В однóй палáте со мной бýли и другíе мáльчики, давнó
ужé жýвшие в рабóтном дóме, но я не сближáлся с нýми. Онý
казáлись мне какýми-то глýпыми, я бóялся рассказывать им что-
нибудь о своих делáх, чтобы они не выdали меня. В рабóтном
дóме все со слов фургóнника считáли меня сиротóй, у которóго
нет ни жилья, ни дру́га, ни покровítеля.

Наконéц я выzдоровел. Это бýло ужé в февралé. Снег
толстым слóбem покрывáл зéмлю, когда дóктор, обходя палáту,
приказáл завтра выписать из больницы меня и другóго мáль-
чика, Бáйльса, у которóго недáвно былá скялатíна.

Когда дóктор ушёл, Бáйльс спросíл меня:

— Слúшай, Смýтфилд, ты — сиротá?

— Сиротá, — отвечáл я.

— Ну, так тебе морскíе рабóты.

— Как так? С какóй стáти?

— А так, что всех сирót отправляют в Стрáтфорд, и тебе
тудá отпраvят. Раzве ты не знал? Ужáсно бóльно секýт в
Стрáтфорде и в чéрную яму сажáют. Я знал однóго сироту —
такóго же, как ты, так егó там убýли.

— За что же убýли?

— А егó поймáли, когда он хотéл убежáть: он перелезáл
чéрез высóкую стéну, утыканную гвоздýми. Егó схватýли, бró-
сили вниз, зáперли в тёмную яму, и с тех пор о нém ни слúху
ни дýху. Все говорят, что егó убýли.

— Какóй же он был дурáк, что поéхал в Стрáтфорд! —
замéтил я.

— Да рáзве он сам поéжал? Его́ повезлý, вот как и тебе́я повезут, — отвечал Байльс.

— Нет, менé не повезут, — решительным гóлосом объявил я. — Когдá начáльник бúдет проходить по нашей палáте, я по-прошу́, чтобы он отдал мне плáтье и позвóлил мне идти кудá хочу́.

— Вот э́то лóвко! — засмеялся Байльс. — Попроси́ его, он тебе́я, навéрно, пустит, да ещé, пожáлуй, даст тебе́ дéнег на из-вóзчика!

Я не обратил внимáния на словá Бáйльса; я всегдá думал, что он глуп, а тепéрь вполнé убедился в э́том. Кому́ охóта удéрживать менé в рабóтном дóме? Напрóтив, все бúдут очень ráды отде́латься от менé.

Начáльник кáждый вéчер обходил палáты, чтобы по-смотréть, все ли в постéлях. Когдá он подошёл ко мне, я позвáл его. Все в палáте пóдняли головы с подúшкой и посмотréли на менé с удивлéнием. Я и не подозрева́л, что совершаю дéрзкий постúпок.

— Ты менé позвáл, мáльчик? — спроси́л у менé начáльник, как бúдто не доверяя ушáм свойм.

— Да, сэр, я хотéл просить вас, чтобы вы приказáли отда́ть мне моё стáрое плáтье и положить его сюдá на стúл. Я надéну его зáвтра утром. Я хочу́ отсиода уйтý.

В глазáх начáльника блеснúл гнев. Затéм он спокойно обратился к надзирапельнице.

— Что, э́тот мáльчик в своём умé, миссис Брáун? — спро-сíл он.

— В своём, сэр, если у э́того дéрзкого негодяя есть ум, — отвечала надзирапельница.

— Очень хорошо! — сказал начáльник, вынимая карандáш и записнúю книжку. — Он ведь из той пárтии, которая ухóдит зáвтра? Какой его нóмер?

— Сто двáдцать седьмой, сэр, — отвéтила надзирапельница.

— Благодарю... Ну, нóмер сто двáдцать седьмой, тебе́ при-дётся вспóмнить сего́дняшний вéчер!

И, взглянув на меня ещё раз, он пошёл своей дорогой.

Я закрыл голову одеялом и долго не мог опомниться. Неужели это правда? Я не смел выйти из рабочего дома, когда захочу! Я здесь плённик, завтра меня увезут в то ужасное место, о котором рассказывал Байльс, и там, конечно, сразу засадят в чёрную яму за дерзость начальнику!

Что мне делать? Как избавиться от ужасной участи, грозящей мне? Если бы даже мне удалось выбраться из рабочего дома, я не могу бежать в этом плаще. Я должен сознаться, что не постыдился бы унести с собой одежду, данную мне рабочим домом, но одежда эта была какая-то странная: коротенькая курточка, штаны с лифчиком, доходящие только до колен, синие шерстяные чулки и башмаки с медными пряжками. Как я мог бежать в таком наряде? Всякий за версту узнал бы меня. А впрочем, от рабочего дома до Арок недалеко. Только бы мне добраться туда. Мобули и Рипстон, конечно, выручили бы меня. Но как улизнуть из рабочего дома?

Я долго не мог уснуть, раздумывая об этом. Наконец я составил план, очень рискованный, но другого я не мог придумать.

У нас в палате была одна добрая женщина — помощница сиделок, которая часто получала от кого-то письма. Звали её Джен. Письма эти привратник¹ оставлял у себя, а она обычно или сама сходила вниз за ними, или посыпала кого-нибудь из нас. За то, что привратник сберегал её письма, она



¹ Привратник — здесь: сторож у входа в больницу.

чáсто давáла ему на табáк. Я решíлся воспóльзоваться этим. Конéчно, мне придётся мнóго лгать, но это пустякý. Стрáтфорд казáлся мне слýшком стрáшным.

Наступило úтро. Мы зáвтракали в половíне восьмóго, а пíсьма приходíли с восьмичасовой почтой. Когдá я проснúлся, я начáл колебáться, но за зáвтраком мáльчики осыпáли менá насмéшками и всé толковáли о том, как мне зададút в Стрáтфорде. Это разрúшило все мой колебáния.

В чéтверть девятого я ухитríлся, спрýтав шáпку в штаны, незамéтно выбраться из палáты и спуститься с лéстницы. Внizу шёл длиный коридóр до сáмого дворá, на дáльнем концé котóрого находíлись ворóта. Там сидéл привráтник. Окно больничьей палáты выходíло во двор, и я увиðел, что Джеи смóтрит на менá и как будóто удивляется, с какóй стáти я очутился во дворé в такóе врéмя. Я не обратíл на неё внимáния и хрáбро подошёл к камóрке привráтника.

— Пíсем нет! — сказал он, увиðев менá.

— Я знаю, — отвечáл я, — но Джен прóсит, чтóбы вы позвóлили мне сбéгать зá угол, купить ей почтóвой бумáги. Онá говорйт...

— Вот вы́думала! — сердítо вскричáл привráтник. — Рáзве я могу позвóлить этó? Скажи твоéй Джен, что уж очень она зазnáлась: просить такие глúпости!

С этими словáми он взглянúл вверх, в окно, а в окнé Джен дéлала ему сáмые отчáянные знáки.

— Лáдно, нéчего знáки дéлать! Если я пущу егó, менá за этó, пожáлуй, прогонят со слýжбы...

— Позвóльте, — перебýл я егó поспéшно, вýдя, как моя надéжда исчезáет. — Джен ещé велéла мне купить вам восьмúшку табакý.

— Гм, это другóе дéло!.. — Он опять взглянúл в окно больничьей палáты, где всé ещé стóяла Джен. Онá вся раскраснélась: вéрно, у неё мелькнуло подозрéние, и онá отчáянно мотáла головой. — Да тóлько нéчего вáшей Джен задáбривать менá табакóм. Ну, давáй дéньги, а сам беги скорéй, да смотри не копáйся, не то тебе достáнется!

Дать ему деньги и бежать! Он меня отпускает, дорога открыта, и вдруг все дело должно погибнуть из-за того, что у меня нет каких-нибудь двух пенсов! Я прибегнул к новой лжи.

— У меня нет мелочи, — сказал я. — Джин велела мне купить вам табаку из тех денег, что дал мне на бумагу.

Я стал искать в кармане воображаемую серебряную монету.

— Ну, иди скорей! Чем тут стоять да болтать, ты бы уж и вернулся успел!

Он отодвинул засов маленькой калитки, и я был свободен! Мне хотелось тотчас же пуститься бежать, но я боялся, не подстерегает ли меня кто-нибудь, и потому сначала просто прошел скрытым шагом. Зато, дойдя до первого угла, я бросился бежать во весь дух.

Было пасмурное холодное утро, я чувствовал себя необыкновенно легким и бодрым. Местность была мне знакома; я знал самую близкую дорогу и минут через шесть добежал до того прохода на набережную, который вел вниз, в темные Арки.

XI

Я еще раз направляюсь к улице Тернмилл

Когда я повернулся в проход к Аркам, на часах пробило деять. Это застопорило меня остановиться. Модели и Рипстона не могло быть под Арками — они, наверно, давно уже на работе и не вернулись раньше сумерек. Надобно провести весь день, не видавшись с ними. Это значительно уменьшило радость, которую я испытывал, вырвавшись так благополучно из рабочего дома. Я мог, конечно, разыскать своих друзей на базаре, но явиться туда в моем костюме было немыслимо. Я решился пробраться под Арки и там ждать их возвращения. Странно: то место, где стоял наш фургон, оказалось совсем не таким уютным, как я ожидал. Там было темно и жутко. Сырость пронизала меня до костей.

У одной из стен я увидел кучу какого-то тряпья и напротив-

ся туда. Но едва я подошёл ближе, куча зашевелилась, и раздался скрипучий старческий голос:

— Чего ты здесь юшешь, мальчишка? Я думал, что хоть днём все уйдут и дадут мне умереть спокойно. Тяжело умирать на людях...

— Я не помешаю вам умирать, — вежливо сказал я. — Умирайте, пожалуйста. Я только ищу местечка, где бы укрыться от холода.

— Полезай в ящик, что стоит на тележке водовоза, — прокрипел мой новый знакомый. — Если бы меня ещё носили ноги, я сам забрался бы туда и не стал бы надоедать людям глупыми разговорами.

Я осмотрелся и заметил тележку, на которой стоял больший ящик с отверстием наверху.

Я влез в него, радуясь, что нашёл себе уютный уголок. Скорее, однако, оказалось, что убежище это не так удобно, как я воображал. Внутри ящика осталось много воды, она замерзла и сначала была совершенно твёрдой, но когда я сел на лёд, он стал оттаявать, и вода просачивалась сквозь мой брошки. Я вылез из ящика и прилёг за бочкой водовоза, чтобы укрыться от ветра. Но ветер был такой резкий, пронзительный, что укрыться от него не было возможности. Он с силой врывался сквозь узкий проход иносился с берега реки обледенелый снег. Меня прохвачивало до костей, щипало за уши. А когда я приподнялся голову, ветер дул мне прямо в рот. Я должен был держать шапку обеими руками, пальцы у меня заболели от холода, точно обожжённые огнем. Я не мог больше получаса переносить эту пытку. Я соскочил с телеги, засунул руки в карманы и принялся бегать назад и вперёд, топая по скользким камням, чтобы как-нибудь разогреть окоченевшие ноги.

Наконец холод до того измучил меня, что я решил попробовать развестить огонь. На берегу можно было подобрать много щепок и кусков угля; одна беда — у меня не было спички. На реке стояло много барок, на них работали люди, и многие из них курили. Они, конечно, дали бы мне спичку, если бы я попросил у них; но как подойти к ним в моём костюме? Они ста-

нут расспрашивать меня, стáнут рассказывать обо мне своим знакомым, и кончится тем, что меня поймают. Оставалось одно: снять куртку, которая могла уличить меня, и вымазать лицо и руки грязью, чтобы быть похожим на одного из мальчиков «костяников», боящихся в речном льду. Это было дело нетрудное, но мне оно показалось в то время страшно тяжелым: я еще не совсем оправился после болезни, я ужасно простыл, а мне пришлось снять не только куртку, но и чулки, башмаки и шапку, так как «костяники» этой одежды не носят. Их ноги, руки и лицо вечно выпачканы грязью. Чтобы вымазаться таким же образом, я должен был пройтись голыми ногами по речному льду, покрытому сверху слоем льда, окунуть в этот лед руки и натереть им лицо. «Костяники» носят с собой всегда лили мешок, или какую-нибудь посудину, в которую собирают все, что найдут. На моё счастье, я увидел под кормой одной барки старую кастриюлю, лежавшую в льду. Я взял её в руки и, подойдя к одному старому барочнику, попросил у него спичку.

— Пошёл прочь, скверный воришко! — закричал он. — Ты только что из тюрьмы и опять берёшься за прежнее!

— Я не был в тюрьме, — со слезами отвечал я. — Я никогда не был в тюрьме.

— Нé был в тюрьме, гадкий лгун! Да ты посмотри на свою голову — разве это не тюремная стрижка?

— Нет, я был в рабочем доме, и меня там обчили, потому что у меня была горячка. Я убежал из рабочего дома!

Старик свесил седую голову через край барки и пытливо посмотрел на мое грязное, залитое слезами лицо. Он, должно



быть, убедился, что я говорю правду, потому что сказал гораздо ласковее:

— Ну, если тебе нужна только спичка, так возьми себе хоть две да иди своей дорогой.

Он воткнул спички в расщелину багра и передал мне их таким образом. Но, увы, все труды мой оказались напрасны! У меня были и щепки, и уголья, и клочок бумаги, но всё это было такоё сырьё, что обе спички мои истлели и ничего не могли зажечь. Я посмотрел на берег; старика, давшего мне спички, не было на барке, пришлось обойтись без огня. Я опять сошёл к реке, смыл грязь с рук, с ног и с лица, дал им просохнуть на ветру, так как у меня не было полотенца, потом надел опять чулки, башмаки, куртку и шапку и принял расхаживать взад и вперёд под Арками.

Часа в два пошёл снег. Это не огорчило, а, напротив, обрадовало меня: я думал, что из-за дурной погоды Рипстон и Мouldи скорее вернутся домой. Я усёлся на последней ступеньке той лестницы, по которой они обыкновенно спускались под Арки, и стал ждать.

На церковных часах пробило семь, но мой дружья не являлись. Куда мне теперь деться, за что мне приняться? Уж не вернуться ли, пожалуй, домой?

Когда эта мысль в первый раз пришла мне в голову, я прогнал её, как совершенно нелепую. Но время проходило, у меня исчезла надежда увидеться с моими единственными друзьями. Мысль о доме возвращалась. Наконец я уже не мог думать ни о чём другом. Чего мне так бояться возвращения домой? Я уже больше девятнадцати месяцев не видал никого из своих; может быть, они обрадуются мне, может быть, в худшем случае, отец сделает мне строгий выговор. Теперь я уже не такой маленький мальчик, каким был, когда бежал из дома, я знал, как искать работу, за какое дело взяться, я не буду в тягость своему семейству.

Однако, прежде чем идти в наш переулок, я побродил несколько времени около Арок, затем добежал до рынка, посмотрел, не там ли Рипстон и Мouldи, и, не найдя их нигде,

решился напривиться к Тернмайлской улице. Я шёл бодро, ни-где не останавливаясь и ни на кого не обращая внимания.

Но когда я дошел до Смитфилда, шаги мои стали замедляться, а подойдя к переулку, я и совсем остановился: не опасно ли так прямо явиться к отцу? В это время дня он обыкновенно бывает в пивной. Подождать разве, пока он выйдет оттуда? Он всегда добрее, когда немногого выпьет. Я остановился против переулка и стал поджидать отца. Он всегда возвращался домой в одиннадцатом часу, а теперь был только десятый. Я ждал терпеливо, и мысль о том, как меня встретит отец, что он мне скажет, мешала мне даже чувствовать голод и холод.

Но время шло, а отца все не было. Я решился наконец дойти до пивной, куда всегда заходил отец, и посмотреть, там ли он.

Вдруг дверь пивной распахнулась, и из нее вытолкали женщину. Плате этой женщины было все изорвано и испачкано, рыжие волосы всклокочены, губы разбиты, а на руках она держала ребенка, завернутого в какие-то грязные тряпки. Я тотчас же узнал ее: это была миссис Берк с моей бедной сестрой Полли.

— Ах ты, проклятый пьяница! — визжала она. — Как ты смéешь бросать в меня бутылками? Ты чуть не убил ребенка! Вернишь только домой, я обломаю об тебя всю кочергу!

Мужчина, вытолкнувший ее из двери, бросился на нее с поднятыми кулаками.

— И ты еще смéешь попрекать меня пьянством, низкая тварь! — кричал он. — Сама пропиваешь деньги, которые я даю на еду. Вся семья голодаает с тех пор, как ты поселилась в моем доме. Мало убить тебя!

— Пóлно вам буйнить, Джим Бализет, — сказал мистер Пигот, удерживая его за руки. — Я не позволю вам бесчинствовать у меня в кабаке. Можете бить ее дома, если хотите, а не здесь!

Джим Бализет! Он назвал этого пьяного, грязного человечка Джим Бализет! Неужели это мой отец? Я привык всегда вий-

деть отцá одéтым опрýтно, дáже щеголевáто. Бывáло, возвра-щáясь с рабóты, он тщáтельно умывáлся и не выходил из до-му иначé, как в чистой рубáшке, в крéпкой фланéлевой кúртке и в шéлковой косынке на шéе. А у э́того человéка немýтое, опúхшее лицó с заплывшими глазáми, небрýтая, щетíнистая бородá. Егó вóлосы давнó ~~и~~ видáли гребёнки. На нём страш-но грáзная рубáшка и стáрая, измýтая шляпа.

— Пустите менé! — кричáл он мýстеру Пýготу. — Я дол-жен разбить мóрду э́той скотíне, э́той змеé, э́той пиявке, вы-сосавшей всю кровь из моих жил!

— Перестáнь, Джим! — убеждáли его люди, вýскочившие из пивной. — Успéешь распра́виться с ней; пойдём-ка лúчше выпьем ещё по стакáнчику.

К шумéвшей толпе подошёл полицéйский.

— Что, опять Бáлизеты скандáлят? — спокóйно спросíл он тракти́рщика.

— Да, — отвéтил мýстер Пýгот. — Сил не хватáет с нýми спра́виться. Наконéц-то вы пришли на подмóгу.

— Да, господи́н полицéйский, — кричáл отéц, — уберите от-сюда э́ту рýжую тварь, чтобы глазá мой больше её не видáли!

И он, шатáясь, вернýлся в пивную.

— Нет, лúчше пристúкните э́того изверга, пропийшего всё моё добро, — захныкала мýссис Берк, немнóго успокившись при вýде полицéйского.

— Ну, идí, идí домóй, бессты́дная пьянчýжка! — заворчáл полицéйский, бесцеремонно втащíл её в наш переу́лок и втолк-ну́л в дверь на́шего дóма.

Что мне бы́ло дéлать? Идти за мýссис Берк бы́ло, конéчно, глóупо. Я никогдá не рассчýтывал на лáсковый приём с её сто-роны. Совáться ей на глазá, когда её побýли, бы́ло уж совсéм нелéпо. Я очень жалéл малóтку Пóлли, но менé утешáло то, что она по краинéй мéре живá и не сдéлалась калéкой по моей винé. Подойти к отцу? Мóжет быть, отéц сжáлится надо мной. Прéжде мýссис Берк восстанáвливала его против менé. Тéперь он с ней поссóрился; мóжет быть, он при́мет менé на-злó ей. Я рóбко вошёл в пивную. Там бы́ло много нарóду, и я

не срάзу увидáл отцá. Только оглядéвшись хорошéнько, я за-
мéтил, что он сидít, положíв обе рукí на стол и склонíв на
них гóлову.

— Эй ты, рабóтный дом, чегó тебé? — спросíл у менá
слугá.

— Я пришёл сюдá к отцú, он там, — отвечáл я, укаzывая на
отцá.

— А как зовут твоего отцá, мáльчик?

— Джим Báлизет.

— А! Я так и думал, я его срάзу узнал! — вскричáл скор-
няк, живший в нашем переулке. — Джим, проснись-ка, смот-
ри — воротился твой сын! — закричáл он отцú, слегкá растáл-
кивая его.

— Брёшь, не тронь менá! — проворчáл отéц, не поднимáя
головы.

— Поговори с ним, мáленький Джим, он узнаёт твой гó-
лос.

— Это я, отéц! — проговори́л я, дотráгиваясь до его лóктя
дрожáщей рукой. — Я пришёл назáд.

Отéц мéдленно пóднял гóлову и устремíл на менá такóй
свиréпый взглýд, что я отступíл на два шáга. Он нéсколько
минút смотрéл на менá такíм óбразом, и я ужé начинáл на-
дéяться, что гнев его исчéзнет, как вдруг он, не говоря ни слó-
ва, бróсился на менá и скватíл за вóрот рубáшки и кóртки.
Рукá его сильно сдавíла мне гóрло, и я упáл на скамéйку.

— А, попáлся, негодáй! Попáлся! — проговори́л он, отстé-
гивая другóй рукой стрáшный ремéнnyй пóяс.

— Что вы с ним дéлаете, Джим?.. Джим, ведь вы его за-
дúшите!.. Остáвьте его, Джим!.. Мóжно ли так обращáться с
ребéнком? — вступíлись за менá окружáющие.

— Сын — мой! Что хочу, то и дéлаю с ним! — закричáл
отéц.

Он остановíлся на минúту, должно быть соображáя, как
удóбнее положíть менá, для тогó чтобы вы́сечь, затéм приподнял
менá за шíйворот и бróсил на стол лицóм вниз. Тут он, должно
быть, в пéрвый раз замéтил, какáя на мне stránnaya одéжда.



— Это что у тебя за наряд? — спросил он.

— Это, должно быть, тюрёмное платье, — заметил кто-то, — стрижка тюрёмная.

— Нет, это не тюрьма, — сказал слуга, — это работный дом.

— Да, работный дом, — подхватил я. — Мне выдали это платье, когда я заболел горячкой и попал в работный дом.

Я думал этими словами разжалобить отца, но вышло наоборот. Он отскочил от стола с отвращением и, обращаясь к окружющим, проговорил слезливым голосом:

— Вот, вы говорите, чтобы я отпустил его, а знаете ли вы, что сделал этот мальчишка? Он бежал из дома, он чуть не убил мою dochку, он нынешествовал, он опозорил меня, он был в работном доме, слышите ли вы? В работном доме! И чтобы я его пустил! Да ни за что на свете, я его до смерти изобью!

— Только, пожалуйста, не в моём кабаке! — вскричал мастер Пигот, хватая на лету конец ремня, который отец уже поднял надо мной.

Мастер Пигот хотел выхватить и весь ремень, но другой конец ремня был крепко обмотан вокруг отцовской рукой. Между ними завязалась драка, и, воспользовавшись этим, я незаметно скользнул со стола на пол.

— Зовите полицию! — кричал хозяин.

— Зовите кого хотите, никто не помешает мне расправиться с этим негодяем!

Дверь распивочной приотворилась, в неё всунулось с полдюжины голов любопытных прохожих, привлечённых шумом. Я спрятался под стол. Добродушный слуга наклонился и притащил меня к двери. Все присутствующие были до того заняты дракой отца с мистером Пигтом, что не обращали на меня внимания.

— Беги скорей домой и радуйся, что так дёшево отдался! — сказал слуга, выталкивая меня на улицу и запирая за мной дверь.

XII

Я знакомлюсь с двумя джентльменами

«Радуйся, что так дёшево отдался!» — сказал мне трактирный слуга.

Радоваться? Чему? Хотел бы я знать! Я был самый несчастный мальчик на свете: у меня не было ни углажи, ни друга, ни куска хлеба; у меня не было даже одежды, так как платье на мне было чужое и страшно стесняло мою свободу. Все мои платья рушились. Я спасся от побоев, но это вовсе не утешало меня. Я чувствовал такое уныние, что не мог даже бежать. Мне было так худо, что, если бы я услышал, как отец догоняет меня, размахивая ремнёмным поясом, я не прибавил бы шага.

Было уже около одиннадцати часов, все лавки запирались. Я шёл куда попало, не обращая внимания на дорогу, наудачу поворачивая то в ту, то в другую сторону, точно бездомная собака.

Так я бродил с четверть часа, пока не очутился в небольшой улице, которая вся состояла из лавок. Лавки были заперты, только в булочной светился огонь. Я подошёл к освещенному окну, и глазам моим представилась целая груда булочек разных форм и величин. Я остановился неподвижно, точно у меня вдруг отнялись ноги. Не напрасно бродил я назад и вперёд: я нашёл наконец то, что мне нужно. Ах, если бы мне дали хоть одну

из э́тих чудных, румяных бу́лочек! Сколько бы штук мог я съесть? Котóрую бы я вы́брал? Нижнюю, она́ поджáристее, и ещё вон ту, что ближе к окнú.

Зз!.. — закрылся послéдний стáвень. Исчёз и свет и прекрасный хлеб. Бу́лочная сде́лась таки́м же тёмным пятнóм, как и все осталы́е лáвки. С утра́ я не чувствовал гóлода, я дáже не думал о едé, но тепéрь жéлудок мой как бúдто проснúлся и стал трéбовать пíщи. Мучительный гóлод кák-то ожи́вил менá, я вдруг почувствовал себя́ необыкновéнно бóдрым. Во что бы то ни стáло необходи́мо добýть себе́ еду. Но каки́м обра́зом? Просить мýлостыню? У кого? Улицы, по которым я шёл, рéдко посещáлись богáтыми людьми, и тепéрь там не вíдно было ни одногó человéка. Да и как мне просить мýлостыню в плáтье из рабóтного дóма? Кто даст мне пéнни и не стáнет расспра́шивать менá, зачём я нóчью шля́юсь по у́лицам и не идú домой? Кро́ме тогó, просить мýлостыню пóздно. Покá я вы́прошу пéнни, все лáвки ужé закрóются. Укráсть разве чтó-нибудь? Но где? На всей у́лице открыта однá тóлько пивnáя, а из пешехóдов вíден оди́н полицéйский. Впрóchem, я не мог разглядéтьничегó вдалí, так как снег валил густыми хлóпьями. Вдруг я услышал шаги и весёлый смех, а чéрез мýнуту уви́дел двух молодых джентльмénов с сигáрами и тростýми в рукáх. Укráсть у них чтó-нибудь мне и в голову не приходи́ло, но я надéялся, что они́ скjáлятся надо мной и дадут мне какýю-нибудь монéтку. Они́ бы́ли очень вéселы и, должно быть, очень богáты — у кáждого на пáльце был пérстень с большím блестя́щим камнем.

На моё сча́стье, оди́н из них останови́лся закурить сигáру совсéм недалеко от менá.

— Бúдьте так дóбры, — сказа́л я, — подáйте мне чтó-нибудь.

— А вот попроси́ у моего прия́теля, — отозвáлся он. — Бéрни, дáйте шíллинг бéдному мáльчику.

Сéрдце у менá забýлось от рáдости. Я обрати́лся к прия́тели джентльмéна.

— Протяни́ рóку, — сказа́л он.

Я протя́нул, а он плóнул мне на руку, говоря:

— Вот каки́е шíллинги я даю́ попрошáйкам!

— Ха, ха, ха! — засмеялся другой джентльмен.

На минуту я почувствовал такой припадок бешенства, что готов был вцепиться в нос мистеру Берни, но голод заглушил мою ярость. Я обтер руку о стёну и снова протянул её весёлым господам.

— Теперь, надеюсь, вы дадите мне хоть пёнки, хоть полпени, — вежливо проговорил я. — Я умираю от голода.

— Что ты лжёшь, негодяй! — закричал мистер Берни. — Толкует о голоде, а одёт отлично! Разве в таких башмаках просят милостыню? Надобно просто свести его к полицейскому, Джонс!

Эти слова навели меня на новый ряд мыслей. Действительно, башмаки у меня были крепкие, хорошие, слишком хорошие для нищего. Я могу продать их. Лучше ходить босиком, чем терпеть такой страшный голод.

Мальчики, ночевавшие под Арками, часто рассказывали, что в Филд-Лейне есть много лавок, где торгуют до поздней ночи и покупают всё, что угодно, без разбора, не расспрашивая, откуда взят товар.

До Филд-Лейна было недалеко. Я нагнулся и начал развязывать башмаки.

— Ты что это делаешь? — спросил мистер Берни.

— Да вот, спасибо, вы мне напомнили, какие на мне башмаки; теперь уж я не стану просить у вас денег. Держите при себе и свой пёнки и свой плевки, не то вам может достаться кирпичом по голове.

— Пойдём, Джонс, — сказал Берни. — Если он осмелится тронуть нас, мы позовём полицейского.

— Нет, постой, — остановил Джонс. — Ты что же это хочешь делать со своими башмаками, мальчик?

— Продать их.

— Куда же ты понесёшь их ночью? Хочешь продавать, так покажи их сюда. Пойдём к фонарию.

Я снял чулки и засунул их в башмаки, а башмаки связал шнурками и перекинул через плечо.

Мистер Джонс подвёл меня к фонарию, взял в руки один

башмáк и принялсѧ разглядывать и ощупывать его с сáмым дeловым видом.

— Скóлько ты за них хóчешь? — спросил он.

— Пóлно вам шутить надо мной! — вскричáл я. — Зачéм вам знать, скóлько я за них хочу?

— Да ráзве я шучу, мáльчик? — с серьёзным видом сказал мýстер Джонс. — Я хочу сдéлать дéло. Назначáй цéну, я куплю башмаки.

Какúю назнáчить цéну, я решíтельно не знал. Тут я вспомнил, что однáжды мать далá два шíллинга дéвять пéнсов за пárку башмакóв горáздо хóже этих. Эти башмаки бýли тaкие тéплые, удобные! Стóя на холóдном снегу босýми ногами, я вполнé оценил их.

— Я хочу за них восемнáдцать пéнсов, — сказал я.

Мýстер Джонс посмотрéл на мýстера Бéрни, а затéм óба молодых человéка принялсѧ хохотать, тóчно я сказал им какуþо необыкновéнно забáвную шútку.

— Ну хорошо, хорошо! — заговорил мýстер Джонс. — Шútка шútкой, а тóлько мы никогда не сдéлаем дéла, если ты не стáнешь говорить серьёзно. Скóлько дать тебе за них?

— Восемнáдцать пéнсов, не мéньше, я знаю им цéну.

— А хóчешь шесть?

— Нет, восемнáдцать, не то давáйте их назáд. Давáйте, я не хочу продаваþть вам!

— Ну, нéчего с тобóй дéлать! — со вздохом произнёс мýстер Джонс. — Há тебе дéньги, и убирайся скорéй, чтобы я не раздýмал.

Он положíл мне в рóку семь пéнсов, взял пóд руку мýстера Бéрни и пошёл прочь.

Я ухватíлся за его пальто.

— Мне надо ещé одиñнадцать пéнсов! — кричáл я. — Не то отdáйте мне мой чулкí и башмаки!

— Да ты с умá сошёл! — вскричáл мýстер Бéрни. — Мы мóжем купить новые сапоги горáздо дешéвле.

— Да тут ещé чулкí.

— А! Чулок я и не замéтил. Посмотрим, какиé такиé чулкí.



Мýстер Бéрни выташил чулкý из башмакóв, внимáтельно осмотрéл их и затéм сказál:

— Ну, нéчего дéлать, ты, кáжется, мáльчик хороший. Мы тебе прибáвим цéну — дадíм шýллинг за всё.

— Нет, я не хочú, мне нáдо восемнáдцать пéнсов. Я бы и этого не взял, е́сли бы нé был так стрáшно гóлоден.

В эту минуту мы подошлý к мáленькой грáзной лавчонке. Онá ещé не былá запертá, и на окнé её лежáло нéсколько больших хлéбов и кусóк холóдного варéного сáла.

— Это ты врёшь, что гóлоден, — сказál мýстер Джонс. — Кáбы ты впráвду есть хотéл, ты бы обráдовался шýллингу. Ведь за четыре пéнса мóжно купить огрóмный кусóк хлéба с э́тим сáлом.

Соблазнýтельно бы́ло глядéть на чудéсное сáло на окнé лáвки. Я был так гóлоден, что, кáжется, мог бы съесть весь кусóк до послéдней кróшки. Однáко отда́ть башмакý за такýю неподходящую цéну мне не хотéлось.

— Мне нáдо восемнáдцать пéнсов, — повторил я.

— Экий ты какóй! Ну, уж е́сли тебе так нужны эти дéньги, так поищý, нет ли у тебя ю ещё чего прода́жного: носово́го платка, нóжичка юли чегó-нибудь такóго. Посмотри-ка в кармáне!

— Нéчего мне смотрéть, у менé тóлько то и есть, что на мне.

— Ну что же! Мы всё покупáем, — сказál мýстер Бéрни. — Мы мóжем дать тебе за плáтье не восемнáдцать пéнсов, а восемнáдцать шýллингов. Продавáй!

Неужéли онý в сáмом дéле дадут мне за моё плáтье восемнáдцать шýллингов? Да я рад был продáть е́го и за половýну э́той цены, онó ведь тóлько мешáло мне.

— Как же я бúду продавáть плáтье здесь, на юлице? — за-мéтил я.

— Зачéм на юлице? Поведéм е́го к себé, Бéрни, — предложил мýстер Джонс.

С э́тими словáми молодые джентльмены, держá в рукáх мой башмакý и чулкý, бы́стро пошлý к Сáфрон-Гýллу. Я не отстáвал от них. Дойдя до сáмой грáзной ча́сти Гýлла, они остановíлись перед однýм дóмом. Ключ от дверéй был в кармáне у мý-

стера Джонса, и мы все троё, пройдя тёмный коридор, поднялись по скрипучей лестнице во второй этаж и вошли в комнату. Мистер Берни зажёг маленькую оловянную лампу, прибитую к стене, и при её свете я мог рассмотреть жилище молодых людей. Оно походило на лавку тряпичника. В одном углу на вальена была такая огромная куча шляп, что верхушка изломанного потёртого цилиндра¹ касалась потолка. В другом углу свалено было множество старых башмаков и чулок всех сортов и величин. Кроме того, груда старого платья лежала на длинном столе, прислонённом к одной из стен.

В этой лавочке, видимо, жили люди: на складном столе перед камином стоял чайный поднос с грязными чашками и кофейником, тут же лежали на капустном листе кусок масла и пачатая булка.

— Можно съесть? — спросил я и, не дожидаясь ответа, откусил большой кусок.

Мистер Берни ударили меня по руке медной спичечницей так, что булка полетела на пол. Я хотел поднять, но мистер Джонс схватил её.

— Погоди, мальчик, ты не вороватъ сюда пришёл, — замечтал он строго.

— Вот что, мальчик, — сказал мистер Берни ласково: — я вижу, что ты очень голоден, мне жаль тебя; возьми этот хлеб впридачу к шиллингу за башмак и не приставай к нам больше!

Если бы я не попробовал хлеба, я, может быть, продолжал бы настаивать на своей цене, но теперь я положил в карман шиллинг, который мистер Берни протянул мне вместе с хлебом, и жадно вцепился зубами в булку.

— Ну, а теперь проваливай! — проговорил мистер Джонс, отворяя передо мной дверь. — Дело слажено, и тебе нечего у нас делать.

— А как же вы хотели купить всё моё платье? — напомнил я. — Ещё говорили, что дадите восемнадцать шиллингов.

¹ Цилиндра (цилиндр) — высокой твёрдой шляпы.

— Восемнáдцать шíллингов? — Мýстер Джонс пощúпал матéрию на моéй кóртке. — Восемнáдцать шíллингов — недóбого, я бы дал и бóльше, ну, да éсли ты стóлько прóсишь, так вот тебе твой ценá!

Он протяну́л мне восемнáдцать пéнсов.

— Это восемнáдцать пéнсов, — вскричáл я, — а мне нáдо восемнáдцать шíллингов!

— Эх ты, дурачíна! Да кто же даст стóлько за éту дрянь?

— На что же мне восемнáдцать пéнсов? Ведь я дóлжен купить себе другóе плáтье вмéсто этого.

Бéрни притяну́л менá к себé и ещé раз внимáтельно осмотréл всю мою одéждú.

— Знаешь что, Джонс? — сказáл он добродúшным гóлосом. — Сдéлаем доброе дéло, дадíм бéдному мáльчику другóе плáтье: в этом емú неудóбно.

— Дéлать добро́ хорошó, — возразíл мýстер Джонс, — только ты пожалéй и менá: ведь мне придётся нестí половину убытка.

— Пóлно, приyатель, от дóброго дéла нельзá разорíться.

С эtими словáми он порýлся в кóче стáрого плáтья и выташил оттуда páру большíх бумазéйных брюк, очень истreпанных, покрытых заплатами спéреди и сзади и совсéм грáзных.

— Онí разóрваны! — сказáл я, укаzывая на большúю дырú.

— Ну конéчно, это вешь понóшеннáя, — отвечáл мýстер Бéрни. — Не нóвое же плáтье тебе давáть!

— Да онí бúдут мне длинны́ и широкý.

— Пустяки, тепéрь нóсят ширóкие брюки, а éсли окáжутся длинны́, мы подréжем. Примéрь-ка.

Моё плáтье бýло сшito так, что для примéрки брюк я дóлжен был снять с себá всé, кроме рубáшки. Мýстер Джонс тóтчас же подхватíл мой вéщи и запрýтал их кудá-то. Бумазéйные брюки были так широкý и длинны́, что нигде не прикаса́лись к тéлу и все завéзки были совершénно бесполéзны; побяс приходился у менá подмышками. Брюки волочíлись по полу.

— Выйдите, я говорил не впóру.

— Как — не впóру? Бýдто нарочно для тебя сыйто!

— Да онý ужásно неудóбны. Смотрите, эта пúговица должна быть спéреди, а онá приходится подмышкой.

— Ему нелóвко оттого, что он скóмкал всю рубáшку óколо побýса, — замéтил мýстер Джонс. — Снимите с него рубáшку, Бéрни, мы ему дадíм другую, потóньше.

Мýстер Бéрни быстро сдёргнул с менý рубáшку.

— Ну, вот тепéрь отлично! — сказал он. — Эту пúговицу мы застегнём на эту дýрку, а ту на ту! Превосхóдно! Как онý высокó приходится, с нýми и жилéта не надо! Слáвная штúка! Найдём ли мы тебе такую же хорóшую кýртку?

— Да вот дай ему эту, — проговорил мýстер Джонс, подавая какую-то кýртку. — Онá совсéм почтý новая, да не беда — жаль мáльчика.

Онý натянули на менý кýртку, всю перепáчканную маcляной кráской. Очевíдно, прéждé её носил малýр.

— Слáвно тебе бýдет — и теплó и удобно! — сказал Бéрни. — Берй свою шáпку и провáливай.

— Как, а рубáшку-то? Ведь вы мне не дали рубáшки!

— Рубáшку? Это еще кróме штанóв и кýртки? Да ты, кáжется, с умá сошёл, любéзный!

— По краиней мéре, дáйте мне хоть немнóжко дénег: ведь моё плáтье стóило горáздо дорóже этого.

— Каково это, Джонс? — вскричал Бéрни обýженным гóлосом. — Мы ему сдéлали добрó, а он ещé трéбует! Бессóвестный, неблагодárный мальчишка! Пошёл вон!

Онý вытолкали менý из кóмнаты, столкну́ли с лéстницы, выгнали на улицу и зáперли за мной дверь.



Я делаюсь уличным певцом. — Старый друг

На церковных часах прόбило полночь в ту мину́ту, когдá мошённики закрыли за мной дверь и я пошёл шагать по мягкому холодному снегу улицы.

Я не срaзу мог сообразить, выгодную ли сде́лку устроил я с господами Бéри и Джонсом. Мне казалось, что вся выгода была на их стороне, а между тем они обвиняли меня в бессовестности и неблагодарности. Неужели я в самом дёле не оценил по достоинству их услуги? Что они для меня сде́лали? Прежде у меня было пара тёплых чулок и крепких башмаков, у меня был полный костюм, не исключая рубашки. Теперь у меня не было ни башмаков, ни рубашки, и костюм мой состоял из одной куртки и штанов. Зато теперь я не так сильно страдал от холода; как прежде, я избавился от одёжды, в которой днём мне нельзя было никому показаться, и у меня в рукáх цéлый шíллинг.

Но где же он, этот шíллинг? Если бы мостовая разверзлась под моими ногами, я не остановился бы с большим испугом. Я стал обшаривать карманы своих новых штанов. Карманы были глубокие, и мне пришлось нагибаться до самой земли, чтобы достать до dna; но напрасно шарил я во всех углах: шíллинга не было. В ужасе я запустил руки в карманы куртки: и там всё пусто, осталось только несколько чёрствых хлебных крошек. О несчастье! Куда же дёлся этот шíллинг? Тут только я вспомнил, что оставил его в доме старёвщиков. Получив за башмаки и чулки шíллинг и кусок хлеба, я сунул шíллинг в карман моих прежних штанов, а когда я снял их, чтобы примирить эти бумажные брюки, я забыл вынуть деньги! Ясно вспомнив всё это, я почувствовал некоторое облегчение. До их дома было недалеко, и я пустился со всех ног бежать к Сáфорон-Гíллу. Найти Сáфорон-Гилл и ту часть его, где жили старёвщики, было нетрудно, но, прибежав в их улицу, я остановился в недоумении. Я не заметил номера их дома, а с виду все дома были совершенно одинаковы. Я шёл, внимательно оглядываясь по сторо-

нáм, но не мог замéтить ни одногó признака, котóрый отлиčáл бы оди́н дом от другого, и, крóме тогó, вездé огни ужé бýли по-тúшены. Вдруг я замéтил свет в однóм окнé второго этажá.

Я подпрýгнул к молоткý и постучáлся. Мне не отвечали. Я постучал второ́й раз сильнеé прéжнего. Окно, в котóром све-тýлся огнь, отворíлось, и из него вы́сунулась головá старика в колпакé.

— Извините, сэр, — сказáл я, — в э́том дóме живут мýстер Бéрни и мýстер Джонс, мне бы нúжно...

— Почем я знаю! Вы́думал стучаться по ночам! Лень мне сойти, а то бы я задáл тебе!

С э́тими нелюбéзными словáми он захлóпнул окно. Что мне бýло дéлать? Стучаться во все домá бýло невозмóжно, уйтí — значило бросить шíллинг. Конéчно, я оди́н виновáт в потéре моих дéнег. Покупáтели поспешат возвратить мне их, как толь-ко узнают, в чём дéло. Всего лúчше подождáть здесь до утра и подстерéчь молодых джентльмéнов, когдá они выйдут на улицу.

К счастью, прýмо прóтив тогó дóма, где, как я думал, жили старьёвщики, былá довóльно глубóкая подворótня, и я устроил-ся в ней как мóжно удóбнее. Я провёл всю ночь, то засыпáя на не́сколько минút, то опять просыпáясь.

В се́мь часóв утра лáвочник, во владéниях котóрого я рас-положил-ся, отворíл свою дверь и прогнáл меня.

Я, однáко, держáлся тут же поблíзости, и часóв в дéвять увидал, что из дóма, замéченного мною, вы́шли два молодых человéка с чёрными мешkáми в рукáх; они бýли одéты не так щегольский, как вчерáшние джентльмéны; их одéжда казáлась очень понóшеннóй, а фурáжки сýльно засáленными. Тем не мéнее я сráзу узнал в них мýстера Бéрни и мýстера Джónса.

— Извините, сэр, — сказáл я, обращаясь к пéрвому из них, — я оставíл свой шíллинг в кармáне тех штанóв... Отдáй-те мне егó, пожáлуйста.

— Что такóе? Какой шíллинг? Какие штаны?

— Да те, что я вам вчera прóдал вмéсте с кóрткой. Вернй-тесь домóй, посмотрíте!

— Что он такбэе болтает? — с изумлением спросил мистер Бёрни. — Вы знаете этого мальчика, Уилькинс? — обратился он к своему товарищу.

— В первый раз вижу.

— Вы ошились, голубчик, — ласково сказал мне Бёрни. — Как зовут того господина, которого вы ищете?

— Одногó звали Бёрни, другого Джонс. Разве же это не мистер Джонс?

— Нет, дружок, меня зовут не Джонс, а Уильям Уилькинс, — отвечал мистер Джонс.

— Неужели вы скажете, что не вы купили у меня плаТЬЕ из рабочего дома, что не вы живёте в этом доме, в комнате, набитой старым плаТЬЕМ? — с отчаянием вскричал я.

— Конечно, не мы, чего ты к нам привязался!

— Неправда, вы! Постойте, вон идёт полицейский, я сейчас позову его.

Увидев полицейского, знакомые мой, видимо, смущились и двинулись вперёд быстрыми шагами.

— Отдайте мне мой шиллинг! — кричал я, догоняя их. — Отдайте, не то я закричу, что вы воры!

— Экий гадкий попрошайка! — побледнев от гнева, вскричал мистер Джонс. — НА тебе два пенса, и убирайся прочь!

— Я не уберусь. Вы мне дайте весь мой шиллинг, не то я пожалуюсь полиции, — отвечал я.

— На что же ты пожалуешься? — спросил Бёрни.

— А на то, что вы взяли у меня деньги, когда покупали моё плаТЬЕ из рабочего дома!

— Из рабочего дома? Молодец! Так это ты бежал из рабочего дома и продал свою плаТЬЕ? Хорошо! Теперь я сам сведу тебя в полицию за такие проделки.

С этими словами он схватил меня за ворот куртки и потащил навстречу к полицейскому. Положение моё было отчаянное. Я сделал усилие, вырвался из рук Бёрни (он держал меня не крепко) и пустился со всех ног бежать прочь. Бегство стопило мне моё шапки. Когда я вырвался из рук Бёрни, она свали-

лась на зéмлю, и, тороплíво оглянувшись, чтобы посмотреть, не гоняется ли за мной, я увидел, как бессóвестный мошённик поднял её и спрятал в свой мешóк.

Я отбежáл далекó от Сáфрон-Гýлла и, убедившись, что никто не преследует меня, остановился обдумывать своё положение. Меня всё ещё не оставляла надéжда найти прéжних товáрищей; кроме того, я искал себе работы. Но напрáсно ходил я взад и вперёд между лáвками: ни Рýпстона, ни Мóулди никогда не было видно. Встрéтившиеся мне знакомые мáльчики сказали, что мой другъ ужé с самого рождествá не хóдят на базáр и что никто не знает, кудá онí дéлись. Найти работу мне так и не посчастливилось. Хотя я сильно вырос за врёмя болéзни и был одéт не так, как прéжде, все продавцы срáзу узнавали меня.

— Опять ты явился, мазу́рик! Провáливай, провáливай дальше! — говорили они, завидев меня. — Убирайся прочь, арестант.

Все попрекали меня моей арестантской стрíжкой, и так как у меня не было шáпки, то моя стрíженая головá всем бросалась в глазá. Мне не удалось заработать ни гроша. Снегу в этот день не было, но зато был сильный мороз и вéтер.

С утра я решíл не заниматься воровством, дáже тем невíнным воровством, которым промышляли мой прéжние товáрищи. Решение я принял за чáшкой горячего кóфе, но потом я прослонялся по базáру целый день, ничего не евши, и онó значительно поколебалось. Наконéц совсéм стемнело, лáвочки начали зажигать огни, гóлод заставил замóлкнуть мою совесть. Я решíл еще раз обойти базáр и ни за что не возвращаться с пустыми рукáми.

Две минúты спустя я бежал к Дрибri-Лéйну с великолéпным ананáсом в кармáне. Ананáсы в то врёмя были очень дорого. Я слышал, как лáвочник, которому принадлежал ананás, похищенный мню, говорил покупателю, указывая на него и на полдюжину других: «Эти все по полгинéе¹ штóка, сэр». Такой це-ны мне, конечно, никто не даст; по прáвде сказать, если бы я

¹ По пятý рублéй.

не слышил слов лавочника, я бы оценил свой ананас в два, много-го в четыре пенса; теперь же я решил не уступать дешевле двух шиллингов. По дороже к старому Баджи Симмонсу, всегда покупающему крашеные вещи у меня и у ткачицей, я уже решил, как истрачу десять пенсов: на шесть поужинаю, а за четыре пристройсь куда-нибудь на ночь. Намучившись прошлую ночь, я чувствовал почти такую же потребность в хороней постели, как и в еде.

Баджи Симmons занимал комнату в квартире одного сапожника, пускавшего проходить к нему через свою мастерскую. Подойдя ближе, я с радостью заметил, что в мастерской сапожника светится огонь и над желтой занавеской окна виднеется его рука, продергивающая крепкую сапожную нить. Сапожник хорошо знал меня, и потому я смело постучался. Он отворил мне дверь. Я сразу заметил, что он узнал меня, и меня удивило, что он говорит со мной точно с незнакомым.

— Что тебе нужно, мальчик? — спросил он.

— Да ничего, позвольте только пройти к Баджи.

— Баджи Симmons не живет здесь. Да и тебе лучше убранться подальше, а то опять станиетходить сюда полиция. Я уже думал, что никого из вашей шайки не увижу.

— Куда же это переехал Баджи? — с беспокойством спросил я. — Пожалуйста, скажите, мне нужно его видеть.

— Никуда он не переехал, он просто в тюрьме, — отвечал сапожник, тревожно оглядываясь по сторонам. — Иди, иди прочь, — прибавил он, выталкивая меня за дверь. — За мной следят, с кем я знакомство вожу. Иди!

— Да вы посмотрите — может быть, и вы купите вместо Баджи, — пресказал я, начиная вытаскивать ананас из кармана. — Я вам уступлю дешево — за шиллинг... за девять пенсов.

— Оставь, оставь, положи его назад! — закричал сапожник, дрожа от волнения и своими грязными руками втыскивая ананас обратно в мой карман. — Уйди, говорят тебе!

Он бросился на меня с таким гневом, что я, испугавшись за свою жизнь, убежал со всех ног подальше от него.

Всё было против меня! Кроме Баджи Симmonsа, я не помнил

áдреса ни одного из знакомых мне покупщикóв. Что мне тепéрь дéлать с éтим противным ананáсом? Лúчше бы вмéсто него я сташил две-три гру́ши ѹли два-три апельси́на. Я мог бы продáть их прохóжим, а с ананáсом кудá мне сúнуться? Начи́ я его предлагáть всем встрéчным, так, пожалуй, придётся посидéть там же, где тепéрь Бáджи Сýммонс. Что же мне дéлать? Остаётся однó: самому съесть ананáс. Я никогда не едáл этого фрукта и тепéрь охóтно променял бы его на дóбryй кусóк чёрного хлéба, но мне не оставáлось выбóра. Дойдá до Бéдфорда, я остановíлся на пло́щади, загромождённой разными эки-пáжами и телéгами, влез в однú телéгу и, притайвшись там, съел весь ананáс до сámого стéржня. Последствия этого доро-го ужина оказáлись сáмые неприятные. У менé так сильнó разболéлся живóт, что я прóсто не мог шевельнúться. Я проси-дéл в телéге до половíны нóчи, но тут руки и ноги мой до того разболéлись от холода, что я дóлжен был вылезть вон и хоро-шенько растерéть их. К счастью, я замéтил в углу пло́щади кúчу навóза, от которого валíл густóй пар. Я сейчас же побежáл ту-дá и очень удóбно провёл в тёплом навóзе всё время до рассве́та.

Как я жил слéдующий день, мне труdно рассказáть. Пóмню тóлько, что я без цéли бродíл по разным улицам. Вéчером я замéтил, что на однóй сторонé улицы собралáсь кúчка нарóду. Я подошёл ближе и увидал, что все слúшают пéение мáльчика. Я тákже стал слúшать. Пéсня была мne знакóма — это была однá из ирлáндских пéсен; которым я выучился у мíссис Бéрк. Мáльчик пел недúрно, тóлько гóлоs его кák-то совсéм не подхо-дíл к смыслу слов. Однáко пéение его понráвилось, и по окончá-нию пéсни в шáпку его посыпалось стóлько полупéновых монéт, что я в удивлении вытарашил глазá.

«Что, єсли бы и мне приняться за то же? — мелькнуло у ме-ня в головé. — Ведь это во всяком случае чéстное средство до-бывать пропитáние, это лúчше и воровства и нíщенства. Мне не много нúжно: єсли хоть оди́н из десяти, дáже из двадцати прохóжих даст мне полпéнни, с менé и довольно!»

Я сдéлал нéсколько шагóв, старáясь припóмнить слова и мотíв пéсни, затéм остановíлся и запéл.



Чéрез минúту óколо менá остановíлся мáльчик, потóм стárik и жéнщина, потóм служáнка с крúжкой пíва.

«Ну, этu послáли за дéлом, — подумал я, увídев её, — а онá стóйт и слúшает — знáчит, недúрно».

Это обóдрило менá, и я стал петь с бóльшeй увéренностью. Мáло-помáлу толppá вокrúг менá всé прибываáла, и когда я kóнчил пéсню, ко мне протянулись три-четыре рукí с мéлкими мéдными монéтами. Особенно сильное впечатлéние произвелó моё пéение на одногó полупýяного ирлáндца.

— Вот пéсня так пéсня! — вскричáл он, крéпко схватíв менá зá руку. — Этакое пéение не всякий день удаётся услýшать! А вы ещé скupítесь свойми мéдными деньгáми, скáредные вы людьи! Пропóй ещé раз, голúбчик, а как kóнчишь, я сам пойдú собирáть для тебá.

— Пой, пой ещé, мáльчик! — закричáло нéсколько голосóв вокrúг менá.

Я охóтно повторíл ещé раз своё пéсню, и онá, вíдимо, по-нráвилась всем слúшателям. По окончáнию её ирлáндец обошёл всех с шápkой в рукáх и вручíл мне цéлую прýгоршню мéдных монéт. Тóлько что я успéл спрýтать в кармáн своё богáтство и náчал потихóньку выбирáться из толppы, как чýя-то рукá дотróнулась до моегó плечá и я услýшал жéнский гóлос:

— Как? Это ты, мáленький Джимми? Бéдный мáльчик!
Чем это ты вздúмал занимáться!

Я бóялся однóй тóлько жéнчины на всём свéте, но э́то был не её гóлос. Это был дóбрый, знакóмый гóлос. Я пóднял глазá и увíдел Мáрту, племýнницу моéй знакóмой прáчки, мíссис Уйнкшип.

XIV

Старый друг угощает и одевает меня

Пóсле мíссис Уйнкшип нé было на свéте человéка, котóрого я любíл бы больше её племýнницы Мáрты.

Она́ была́ такáя добродúшная жéнчина, что все на́ши сосéди любíли её. Это, одnáko, не мешáло всем, и взро́слым и дéтям, называть её «кривóй» и «одноглáзой». У неё дейстvительno нé было однóго гла́за. Из всех мáльчиков я оди́н назывáл её настóящим именем. Мóжет быть, и́менно поэ́тому она́ окáзыва-ла мне осóбенное расположéние. У неё всегдá бы́ло для менé дóброво́ слово, и много-много раз корми́ла и пойла менé дóбрея Мáрта, когдá я умира́л с гóлоду по мýлости мáчехи.

— Бéдный мáльчик! — повторя́ла она́, выбравшись со мной из толпы. — До чéгo ты дошёл! Пойдём со мной, несчáстный малóтка, расскажí мне всё, что с тобóй бы́ло.

— Мне нéчего рассkáзывать, Мáрта, — отвечáл я. Но тут я замéтил, что она́ менé тáщит к тому́ переу́лку, где жил мой отéц. — Я не пойдú с вáми, с менé довóльно и тогó, что бы́ло в запрóшлую ночь!

— Знаю, знаю всё, беднáжка, и тéтка знаёт, — отвечáла дóбрея молодáя жéнчина. — Уж как она́ тебé жалéет! Гово-рít: если бы я моглá ходить, как другíе жéнчины, я бы самá пошлá отыскивать э́того несчáстного ребёнка! А вот тепéрь я и нашлá тебé, да в какóм вíде!

Мáрта отéрла себé глазá перéдником.

— Я ужáсно гóлoden, Мáрта, — проговори́л я, — я умира́ю с гóлоду!

Я заплакал, и мы оба стояли среди улицы и плакали.

— Пойдём, — вскричала вдруг Марта, — пойдём в наш переулок! Тётка говорила, что рада будет, если ты найдёшься. Вот ты и нашёлся.

— Нет, я не пойду домой, ни за что не пойду.

— Полноте, не бойся, я проведу тебя к нам так, что никто не увидит. Да тебе и узнать-то трудно! — прибавила она, с сочувствием оглядывая мою тёщую фигуру. — Я сама узнала тебя только по голосу.

После некоторого колебания я наконец согласился идти с Мартой. Когда мы дошли до нашего переулка, она оставила меня в тёмном углу улицы Тернмилл, а сама пошла предупредить миссис Уинкишип и поглядеть заодно, не опасно ли мне будущий идти.

Прошло несколько минут, мне показалось — очень много, а она не возвращалась. Я уже начал думать, что миссис Уинкишип, вероятно, не хочетпустить меня, и от ничего делать вздумал пересчитать свой деньги. Их оказалось четырнадцать пенсов. Какое богатство! И это заработано меньше чем в полчаса! Положим, мне много помог добрый ирландец; но если я буду приобретать без него хоть вдвое, хоть вчетверо меньше, это всё-таки выйдет $3\frac{1}{2}$ пенса в час, шиллинг и 9 пенсов в три часа! Чудесно! Я начал желать, чтобы Марта не возвращалась. Но нет, она вернулась, неся что-то под платком, и объявила мне, что в переулке никого нет и миссис Уинкишип ждёт меня.

— А всё же я лучше не пойду, — сказал я. — Пожалуй, маечеха выйдет из дома, пока мы здесь разговариваем. Благодарю вас, Марта, я уж лучше уйду подальше отсюда.

— Нет, нет! — вскричала она, загораживая мне путь. — Ты и так довольно шатался по улицам, я непущу тебя больше, пойдём со мной, будь умница! Я тебе так наряжу, что никто тебя не узнаёт! — С этими словами она вытащила из-под платка какую-то старую юбку и женскую шляпу, быстро надела их на меня и, взяв меня за руку, направилась к переулку с решимостью, которой я не мог сопротивляться.

Мы вошли к миссис Уинкшип в ту минуту, когда она спокойно наслаждалась порцией рома с горячей водой перед ярким огнем камина.

— Вот он, тетушка! — сказала Марта, снимая с меня юбку и шляпу.

— Это он! — вскричала миссис Уинкшип, устремляя на меня удивленный, почти испуганный взгляд. — Веселый маленький мальчуган, вылитый портрет своей покойной матери! Ай-ай-ай, в каком он виде! И все это по милости той ряжей пьяницы! Ну, уж попадись она мне в эту минуту, я бы своими руками исколотила ее! Посмотри-ка, Марта, на нем даже рубашки нет! Он врало, что он одет в теплое и удобное платье из рабочего дома, а он...

Как закончила свою речь миссис Уинкшип, я не помню. Попав в теплую комнату и подойдя к огню, я вдруг почувствовал звон в ушах и головокружение. Ноги у меня задрожали, и я упал на пол. Обморок мой, вероятно, длился довольно долго, потому что за это время в положении моем произошли значительные перемены. Я очнулся на диване, стоявшем в комнате миссис Уинкшип. Вместо куртки и бумазейных брюк на мне были надеты: вязаная фуфайка, длинные, широкие штаны, вероятно принадлежавшие когда-то мистеру Уинкшипу, и огромное полотняное одеяние, закрывавшие меня всего с ногами и, наверно, служившее ночной рубашкой самой миссис Уинкшип. Я все еще чувствовал некоторое головокружение, однако мог приподняться и оглядеться кругом. Миссис Уинкшип стояла перед печкой и мешала что-то в небольшом суснике, а Марта вошла в комнату и поставила на стол бледо с тремя великолепными барабанными котлетами. При виде этого чудного кушанья я чуть



не соскочил с дивана, но мне помешало длинное одеяние, опутывавшее мне ноги.

Миссис Уинкшип заметила это движение.

— Ну что, молодец, жив? — ласково, весёлым голосом вскричала она. — Полн, голубчик, ободрись, чего это ты вдруг раскис?

Под этим она подразумевала: чего это я вдруг расплакался? В моих слезах она сама была виновата. Она поцеловала меня в лоб, а со смерти матери меня ещё никто ни разу не целовал. При этом материнском поцелую я не мог удержаться от слёз. Миссис Уинкшип далла мне вволю наплакаться, а сама занялась приготовлением ужина. Через несколько времени из блестящей голландской пеки распространился необыкновенно приятный запах.

— Ну что, готовы ты, Джимми?

— Готов, благодарю вас.

— У меня было к обеду мясо, — ласковым голосом сказала миссис Уинкшип, взяв меня на руки и усадив в большое кресло перед столом. — Остатки я положила тебе в суп. Кушай, голубчик, да смотри не оставляй ни кусочка, а в это время и котлеты поспеют.

Долго уговаривать меня было нечего. Суп показался мне изумительно вкусным. Но разве он мог утолить мой волчий голод! Я напал на него как на врага, которого следовало истребить как можно скорее, и пожирал его с такой быстротой, что миссис Уинкшип от изумления сдерживала дыхание.

— Вот до чего дошел! — воскликнула она с глубоким вздохом, когда миска с супом оказалась пустой. — Это ему все равно, что глоток воды!

И действительно, все, что я съедал, казалось мне крошечной порцией, но я не сказал этого миссис Уинкшип. Моя деликатность дошла до того, что, когда она у меня спросила, съем ли я еще баранью котлетку, я отвечал: «Пожалуй, только не целию, а маленький кусочек», хотя мысленно пожирал в это время не только все котлеты, стоявшие в голландской печи, но и толстый кусок хлеба, которым я собирался доиста подобрать



весь жир с блюда. Впрочем, глаза мой оказались жаднее желудка. Съев одну котлету и несколько картофелин, я почувствовал себя совершенно сытым.

— А теперь, — сказала миссис Уинкшип, когда Марта убрала ужин и мы все трое спокойно уселись на диване перед камином, — расскажи нам, Джимми, по порядку все, что с тобой было за это время.

Я охотно исполнил желание миссис Уинкшип. Я подробно рассказал ей всю свою жизнь с той самой минуты, как бежал из родительского дома и укусил за пальцы свою мачеху. Когда я стал говорить о своих приятелях Рипстоне и Мобулди и о том, как я принимал участие в их базарных похождениях, миссис Уинкшип разразилась бранью против моей мачехи, которая своей жестокостью чуть не довела меня до тюрьмы.

— Да ведь за кражу на базаре не сажают в тюрьму! — объяснил я ей. — За это страж сам расправляется. Мне так Мобулди говорил.

— Ну, твой Мобулди просто дрянной лгуньшка, скоро ты сам убедился бы в этом. Хорошо еще, что с тобой сдалась горячка, Джимми, и что она положила конец твоему воровству. Ведь ты больше уж не воровал?

— Нет, никогда! — отвечал я, решив умолчать об ананасе.

Рассказал о моем побеге из рабочего дома сильно насыщенный миссис Уинкшип, а описание бесчестной проделки старьевщиков привел ее в ярость.

— Экие подлецы! — воскликнула она. — Если бы я была мужчина, я бы подкараулила их да задала им такую трепку, что чудо!

— Хорошо, что хуже ничего не было! — произнесла она со вздохом облегчения, когда мой рассказ был кончен. — Конечно, и то худо, что сын моей милой Полли сдался нынешним, но могло быть и еще хуже!

— Как — нынешним? Милостыни я не просил. Когда Марта встретила меня, я пел.

— Ну, это все равно, я в этом разница никакой не вижу, — решительным голосом отвечала миссис Уинкшип.

— Я не знал, что это всё равно, — проговорил я смущённым голосом. — Я не хочу жить нищенством, я готов, пожалуй, бросить те четырнадцать пенсов, которые мне подали. Где он?¹

— Ты уж лучше и не спрашивай, где он, тебе таких денег не нужно, Джимми. Он сделяют добро тому бедняге, которому посланы, тебе не след тратить их на себя... Что она сказала о грязных тряпках, которые ты ей снесла, Марта, вместе с деньгами?

— Она очень обрадовалась. Не знала просто, как и благодарить! Она сейчас же села выкраивать штанышки своему маленькому Билли.

Про какие это грязные тряпки они говорили? Неужели про мою куртку и мой штаны? Пускай себе маленький Билли пользуется иими и моими четырнадцатью пенсами! Должно быть, миссис Уинкшип намерена позабыться о моей одежде. Тот костюм, в который она нарядила меня теперь, был удобен, в нем было очень тепло; однако я не мог показаться в нем на улице. Но, может быть, я ошибаюсь? Может быть, она толкуют совсем не о моих вещах? Надобно было поскорее рассеять свой сомнения. Я подумал несколько минут, как бы деликатнее начать разговор, и наконец, заметив на камине большую пуговицу, спросил:

— Нужна вам на что-нибудь эта пуговица?

— Нет. А что?

— Да не худо бы пришить ее к моей куртке, там не было верхней пуговицы.

— Ну, чего еще вспоминать это грязное тряпье! Ты никогда больше не увидаешь ее, Джимми.

— Никогда не увижу? — с испугом воскликнул я. — Как же это можно? Как же я останусь без куртки?

— Не беспокойся об этом, — сказала добрая женщина, глядя меня по голове, — у тебя будет куртка. Хорошо, если бы не было дела труднее, чем раздобыть тебе куртку.

— А что же такое труднее? — спросил я с любопытством. — Разве достать штаны труднее?

Вопрос мой сильно рассмешил старуху.

— Нет, и штаны не беда, Джимми, — сказала она, вдоволь нахочотавшись. — Главная трудность в том: что я с тобою буду делать? Оставить у себя невозмездно: ты сам знаешь, какая поднимется суматоха, если тебя найдут здесь!

— Конечно, я не могу здесь оставаться, я сам этого боюсь, — поспешил я отвечать.

— Хорошо бы отдать его кому-нибудь в ученье, — спокойно произнесла Марта, продолжая свою работу. Она штопала чулки.

— Хорошо-то хорошо! Да к кому отдать?

— Вот я думала... Только вы скажете: какое же это ремесло!..

— Что такое?

— Да отдать бы его в трубочисты к братцу Бельчери — он ведь держит мальчиков.

— Превосходно! — с восторгом воскликнула миссис Уинкшир. — Вот это дело так дело! Правда, Джимми?

Я из вежливости отвечал:

— Да, конечно.

Но на самом деле я вовсе не разделял восхищения миссис Уинкшир. Конечно, если бы мне предложили сдаться трубочистом в прошлую ночь, когда я, голодный и иззябший, лежал на навозной куче, я, может быть, с радостью согласился бы. Но для мальчика, сътно поужинавшего, сидевшего на мягком диване и одетого в теплую фланель, лазанье по трубам совсем не представлялось приятным занятием.

— Как я рада, что эта мысль пришла тебе в голову, душа моя! — продолжала восхищаться миссис Уинкшир. — Лучше этого ничего и выдумать нельзя. Во-первых, это — ремесло, которому научиться легко и которым можно заработать себе деньги, и очень порядочные деньги. Дик Бельчер прежде был такой же бедный мальчик, как Джимми, а теперь он ни в чём не нуждается. Во-вторых, он живёт далеко отсюда, и, главное, чистка труб так меняет человека, что родной отец не узнаёт его, хоть встретится с ним носом к носу. Ну, это дело улажено. Завтра же утром, Марта, поезжай в Кембериэл и привези с собой Дику Бельчера.

Мой новый хозяин

Благодаря миссис Уинкшип я мог бы спать в эту ночь очень удобно на мягком диване, под чистой простыней и теплым одеялом. Но на самом деле я долго, очень долго не мог уснуть. Я всё думал о той судьбе, какая мне готовилась. И чем больше я думал, тем меньше хотелось мне поступать в ученики к трубочисту. Я знал одного трубочиста, он жил по соседству с отцом. У него было два ученика, и жизнь их представлялась нам, мальчикам, настоящим мучением.

Ученики жили у мастера Пайка — так звали нашего трубочиста — очень недолго. Они беспрестанно менялись, и ни один из них не прожил у него больше года. Обыкновенно они или умирали, или убегали от него. На вид они все казались похожими друг на друга: все были грязные, черные, обрванные, глаза у них мигали и щурились при солнечном свете. У нас, мальчишкам, ходили самые ужасные слухи о жестокости мастера Пайка. Мы были уверены, что он приучает своих учеников влезть в трубы так: один конец верёвки он привязывает к языку ученика, другой держит в руках, стоя на крыше, и если ученик лезет недостаточно ловко и проворно, держает со всех сил верёвку. А если мальчик слишком долго возится в трубе, хозяин зажигает горсть стружек, пересыпанных перцем, в печке, под ним. Раз он послал одного из своих учеников в трубу, и ученик не возвратился к нему. Мы были вполне убеждены, что мастер Пайк зажёг слишком много стружек и зажарил мальчика живьём. Прáвда, многие видели его недели две спустя в Шордиче и говорили, что он просто-напросто убежал.

Представляя себе эти ужасы, я лежал без сна, пока на часах пробило двенадцать, потом час, потом два. Наконец я заснул и проспал до десяти часов. Миссис Уинкшип и Марта, вероятно, встали, по своему обыкновению, очень рано: они успели не только позавтракать, но и сходить в какую-то лавку готового платья. Доказательство того, что они побывали в такой лавке, лежало у меня перед глазами. На стуле подле моей кро-

вáти разлóжены были: чистая рубáшка, носки, крéпкая суконная кóртка и красивые полосатые бриóки, под стúлом стóяла пара башмакóв, несравненно лúчше тех, какие выманил у менá мýстер Бéрни, а на спíнке стúла висела фурáжка. Я нискóлько не сомневáлся, что все эти прекрасные вéщи предназначáлись мне, и потому поспешил одéться и поздорóваться с мýссис Уйнкшип. Дóбрага старúха очень обráдовалась, увидев менá в приличном наря́де. Она принесла тёплой воды вымыть мне руки и лицо, сама причесала менá своёй собственной щёткой и напомáдила мне волосы своёй собственной помáдой.

— Поглядýсь-ка тепéрь в зéркало, Джýмми, — сказала она вéсело: — вíдишь, какóй ты молодéц, прóсто чудо!

— Это пláтье не очень похóже на то, которое носят трубочисты, — замéтил я с гордостью, осматриваясь кругом и втáйне надéясь, что она придумала для менá другóе занятие. — Мне не хотéлось бы в такóй одéждé лезть в трубу.

— Ещё бы! — отвечала мýссис Уйнкшип. — Эту одéждú ты можешь носить по прáздникам, а для работы Бéльчер даст тебе какиé-нибудь лохмотья. Máрта поéхала в Кéмберуэл и, должно быть, скоро вернётся с самýм Бéльчером.

Мáрта действительно приéхала вскóре пóсле моего завтра-ка, но однá. У мýстера Бéльчера была сéгодня работа на цéлый день, и он хотéл приéхать вéчером в телéжке на своéй собственной лóшади. Извéстие о телéжке и лóшади несколько успокóило менá. Зnáчит, мýстер Бéльчер не такóй беднýк, как мýстер Пайк.

Для безопáсности я цéлый день прóбыл в кóмнате. В сúмерки приéхал Бéльчер. Он нискóлько с виду не походил на трубочиста: он был белый, а не чёрный, одёт в корýчневое пальто и щегольскую шляпу. Лицо его было такóе же блéдное, как у Мáрты, и рябые, жёлтые вéрхние зúбы выдавáлись вперéд, и губá не покрываáла их. Вообщé он не понráвился мне. Máрта не сказала ему, зачём он нужен, и тепéрь, когда мýссис Уйнкшип сообщила ему, в чём дéло, он, вíдимо, остался не очень довóлен.

— Скóлько лет мáльчику? — спросиl он, оглядывая менá.

— Дéвять лет, десятýй; не слíшком ли он мал?



— Напротив, великий. Нашему ремеслу всегó лúчше учиться, покá кости гíбки. Какоý он чистенький мáльчик! Жáлко дéлать из него трубочиста.

— Как же тут быть? Крóме этого, мы ничего не мóжем для него придумать. Возьмёте вы его, Дик?

— Делá-то у меня идúт плохó, — неохотно отвечáл мýстер Бéльчер. — Да и не знаю, довольно ли он тóнок для фабричных труб...

Он вы́нул из кармáна линéйку и смéрил мне плéчи.

— Тýго ему придётся: он мáлый не жíрный, похудéть больше не мóжет, а я дóлжен бýду так его содержáть, чтобы он не нáжил себе лíшнего кусóчка жíру, не то — бедá, завязнет где-нибудь в трубé. Этакий слúчай был недáвно на лесопильном завóде по дорóгé в Бéрмондси. Трубá там бýдет вышиной в девяносто вóсемь фútov, а мáлый-то заст्रýл рóвно на половíне, так он там и остался, покá...

— Пóлно вам врать пустякý, Дик! — сердýто прервалá мýссис Уýнкшип. — Небóсь, когдаý вы приходíли просить у меня одолжéния, я не бхала да не выдúмывала ráзных отговóрок!

Этот намéк на какбе-то одолжéние тóтчас застáвил мýстера Бéльчера переменить тон.

— Рáзве я говорю, что не возьмú егó? — опрáвдывался он.— Я говорю только, что у менá рабóты тепéрь немнóго, да и мáльчики не бóльно мне нужны, раз я рабóтаю машíной. А пусть он живёт у менá, я егó всё-таки вýучу нашему дéлу.

Таким óбразом судьбá моя былá решенá. Я бóуду трубочýстом, мне грозит опасность завéзнутъ в какоý-нибуль трубé. Этот гáдкий рябóй человéк бóудет моим хозяином! Я чuvствовал себя невыразимо несчáстным.

— Когдá же мне егó взять? — спросил мýстер Бéльчér.

— Да хоть сейчáс. Он готов, а мне очень хотéлось бы, чтобы вы увезли егó сегоýня же дó ночи.

— Пожáлуй, мне всё равнó — сейчáс так сейчáс. Берй шáпку, мáльчик.

Мне стáло ужáсно досáдно на мýссис Уýнкшип за то, что она хóчет поскорéй отdéлаться от менá, и я очень хóлодно отвечáл на её лáсковое прощáнье. Лóшадь и телéжка мýстера Бéльчера ожидали нас в конце переулка и бýли отданы под присмотр какого-то мáльчика, котóруму мýстер Бéльчér обещáл нагráду в полпéнни. Когдá мы подошли ближе, я увиðел, что мáльчик этот был не кто другoй, как Джéрри Пеп. Сéрдце мое сильно забýлось, но, к счастью, Джéрри был так зáнят мыслью о полпéнни, обéщанном ему мýстером Бéльчérом, что не обратил на менá никакого внимáния, и мы благополúчно уéхали.

Когдá мы доéхали до Кéмберуэла и до того мéста, где жил мýстер Бéльчér, было уже поздно. Это былá маленькая грýзная ýлица вóзле канáла. Все домá на ней показáлись мне ужáсно убóгими. Впрóчем, дом мýстера Бéльчera был выше и красивее всех. К дверýм был привéшен великолéпный мéдный молотóк, чтобы мóжно было постучáться. Цýфра, обозначáвшая нóмер дóма, былá тóже сдéлана из кóваной мéди. На дверýх былá наáпись: «Бéльчér трубочýст», а под блестяющим мéдным звонкóм приколóчена дощéчка со словáми: «Колокольчик трубочýста». Мéжду óкнами висéла вýвеска, изображáющая цéлую картину: Букингэмский дворéц, из трубы которого вылетáет столб огня, в окнé дворца королéва Виктория с корóной на головé и с растрéпанными волосáми простирает руки к трубочý-

сту, бегущему во дворе. На шапке трубочиста написано кропленными буквами: «Бельчер». Часовой у ворот дворца кричит словами, написанными на ленточке, вылезающей вокруг его носа: «Бельчер, мы думали, что вы не придёте! Принц Уэльский ездил за вами и сказал, что вы ушли на другую работу». — «Это правда, — отвечает Бельчер (также с помощью ленточки). — Я работал у герцога Веллингтона, но, услышав призыв королевы, я бросил там всё в огне, и теперь я здесь».

Мальчик моих лет, такой же чёрный и обгоревший, как ученик Пайка, услышав шум колес нашей тележки, выбежал из-за угла дома и взял лошадь под уздцы. Мистер Бельчер вышел из тележки, оставив меня в ней.

— Позвольте, я вам помогу, господин, — вежливо обратился ко мне маленький трубочист. — А впрочем, пусть лучше хозяин вынет вас, а то я, пожалуй, перепачкаю своими руками выше платье.

— Какой же это господин! — рассмеялся мистер Бельчер. — Простофиля ты этакий! Это просто новый ученик.

— Новый ученик? Что ты, с ума сошёл, что ли, Дик? Для чего тебе понадобился новый ученик?

Словами эти были произнесены толстой неопрятной женщины, вышедшей из дверей дома. На её растрёпанной голове промостился чёпчик с пёстрыми лентами, в ушах её блестели серьги, но я тотчас по лицу узнал, что она родная сестра миссис Уинкшип.

— Понадобился? Нисколько он мне не понадобился, — проговорил мистер Бельчер. — Я должен был взять его, чтобы не обидеть твою сестрицу. Войдём в комнату, я тебе всё расскажу по порядку. — Затем, обращаясь к мальчику, он сказал ему, указывая на меня: — Возьмё егоз с собой в кухню, Сэм; япозову его, когда мне будет нужно.

Сэм взял лошадь под уздцы и провёл её кругом дома на большой двор, на одной стороне которого находился длинный черноватый сараи с двумя дверьми.

— Ну-ка, вылезай! — грубым голосом сказал мне Сэм, оставившись против одной из этих дверей. — Вот тут кухня. Смо-

трí не шумí, как войдёшь тудá, а то ёсли разбúдишь малого, что там спит, так сам не рад бúдешь. Я сейчáс к тебе приду, только уберу лóшадь. Не стучись в дверь, она не зáперта; толкнй — и отвóрится.

Я слегká толкнул грáзную чéрную дверь, она в сáмом дéле отворилась, и я вошёл в кúхню. Это была óчень тёмная комната, слегká освещённая огнём нéскольких угольков, горéвших под небольшим котелком. Сначáла я ничего не мог разглядéть, но понемнóгу глазá мой привéкли к темнотé, и я различил вóзле огня с однóй стороны стол и два стúла, а с другóй — каку́юто чéрную кúчу, из которой слышалось хрáпение. Я ступил нé сколько шагóв вперед, старáясь не дéлать ни малéшего шúма, как вдруг из чéрной кúчи разда́лся лай и на менé бросилась мáленькая собачóнка.

— Что ты её дráзнишь, Сэм! — послышался сердýтый гóлос из той же кúчи. — Ведь она тебе ничего не дéлает. Да запирай дверь, гáдкий бродяга! И без тогó у менé все кóсти болят, а ты напускашь вéтру. Затворяй же дверь, проклятый мальчишка!

Приглядéвшись прýстальнее, я замéтил, что из кúчи приподняла́сь на колéни какáя-то фигúра. Когдá фигúра возвысила гóлос, собачóнка залáяла громче.

Я стрýсил.

— Это не Сэм, — проговорíл я рóбким гóлосом, — это я.

— Да запирай же дверь!

При этих словáх чтó-то вróде тяжёлого сапогá пролетéло мýмо моего лица и стúкнулось в стéну позадí менé.

Я побоялся заперéть дверь изнутрí и осталýся вдвоём с та-кýм страшным человéком. Я вышёл из кúхни и хотéл приперéть её снарýжи, когдá явился Сэм, освещая фонарём своё весéлое лицó.

— Чегó же ты не шёл в кúхню? — обратýлся он ко мне. — Я же тебе сказáл: толкнй дверь.

Я рассказал Сéму, какой приём нашёл в кúхне.

— Пойдём! — смея́сь, сказáл он и взял менé за руку своей чéрной рукóй. — Паукá нéчего бояться: покá он успéет сползти со свойх мешков, ты мóжешь добежать до застáвы.



— Да я не собáки испугáлся, а тогó мужчýны, котóрый ле-
жít на мешкáх óколо огня.

— Ну, éто и есть Паýк. Какóй он мужчýна! Пойдём же, ведь
хозяин велéл тебé быть на кúхне.

Сэм отворíл дверь и вошёл, а я вслед за ним, старáясь сту-
пáть как мόжно тýше, чтобы опять не рассердить фигúру на
мешкáх.

— Кто éто был здесь сейчáс? — жáлобным гóлосом спросíл
Паýк. — Настучáл, нашумéл, напустíл такóго хóлода, что про-
сто смерть! Вíдел ты егó, Сэм?

— Кто был? Был одýн вáжный граф, сын лóрда Флéффема.
Приезжáл узнать о твоём здорóвье и привёз тебé мáзи от ревма-
тизма. А ты взял да и пустíл в него сапогóм! Достáнется тебе
когдá-нибудь за éту глóупую привýчку! Прáво, достáнется, Паýк.

— Ох, я, прáво, не виновáт! — застонáл Паýк. — У менá так
болят все кóсти, а тут отворяют дvéри да вéтру на менá напу-
скáют. Неужéли я егó ушиб, Сэм?

— Не очень бóльно, он мálый не обýдчивый; вот он и сам.

Сэм пódнял фонárь так, что калéка мог ясно вíдеть менá.
Я тákже рассмотрéл беднякá. По рóсту éто был мálчик лет
шестнáдцати. Он был одéт в чёрные лохмóтья и сидéл, съёжив-

щись, на кóрточках, опиráясь однóй рукóй на грúду мешков, служíвшую ему постéлью, а другóй откýдывая с глаз вóлосы.

— Простите менá, пожáлуйста, сэр, — обратился он ко мне смиренным гóлосом, — я от боли иной раз сам себя не помню. Надéюсь, я вас не зашиб?

Прéжде чем я мог отвéтить, Сэм разразился громким хóхотом.

— Чудéсно, великолéпно! — восклíкнул он. — Он и менá наду́л, тóлько, конечно, не так хоро́шо! Дурачина ты! Совсéм он не «сэр» и не сын лóрда. Он прóсто мáльчик, котóрого отдали сюда в учéнье.

— В учéнье? — с удивлéнием переспросил Пау́к. — Вот так штúка!

— Что же тут удивíтельного? — вмешáлся я. — Отчего же я не могу учиться и сдéлаться трубочíстом?

— Да чему же ты будешь учиться, когдá у хозяина нет никакой рабóты и он совсéм не чистит труб!

— Мне все равнó, — беззабóтно отвечал я, — я буду дéлать то же, что другие мáльчики! У вас у двоих какáя рабóта?

— Пау́к совсéм ничего не дéлает, — пояснил Сэм. — Хозяин давнó бы отослал его, да нельзя: он взят по контракту на семь лет. А я по утрам хожу иногдá с хозяином и с Нéдом Пéрксом на машинную рабóту, тóлько это совсéм пустéчное дéло. Всё зáведéние дéржится ночной рабóтой по деревням. Я езжу с хозяином и с Нéдом, присматриваю за телéжкой.

— Что же это за рабóта по деревням? — полюбопытствовал я. — Нáдо там лáзить по фáбрíчным трóубам?

— Не знаю, кудá там лáзить! Я думáю — никудá, — отвечал Сэм.

— И сáжи онá домóй не привóзят! Не понимáю, что это за поездки! — сказал Пау́к, сно́ва мóрщась от боли.

Он лéг на постéль и нáчал óхать и стонáть. Прéжде чем боль его скóлько-нибудь стíхла и мы могли продолжать интересный для менá разговор, раздался гóлос мýстера Бéльчера, звáвшего менá к себе. С помощью Сéма я нашёл дорóгу к зáдней дvéри дома, и оттуда мой нóвый хозяин привéл менá в гостíную.

Там сидéла тóлстая смúгшая жéнщина, котóрую я безошý-
бочно приýнял за мíссис Бéльчér, а на столé расстáвлены бы́ли
хлеб, ма́сло и лук. Мíссис Бéльчér встрéтила менé не очéнь
дружелюбно:

— Эй, ты, ма́льчик, как тебé зовút?

— Джим.

— Нá, поúжинай, ёсли хóчешь. Это не какиé-нибуль куропáтки с яблочным сбóсом, котóрыми тебé, мóжет быть, пótчевали другиé, но у нас лúчшего не жди!

— Благодарю, — отвечáл я примирýтельным гóлосом. — Я очéнь люблю хлеб с ма́слом и с лúком.

— Ещё бы! Я дúмаю, всякую едú лóбиши! Ма́ло нам бы́ло, что однá прáздная собáка ёла наш хлеб! Ещё э́того шелопáя...

— Ну полно, перестáны! — останови́л свою жену мýстер Бéльчér. — Ведь твой сестрýца не зна́ла на́ших дел. Кáбы вce шло по-стáрому, нам бы нипочём взять к себе ма́льчика. А тeбé, пожáлуй, хотéлось, чтобы я ей вce рассkázal.

— Вот вы́думал! — вскричáла мíссис Бéльчér. — Да, по мне, лúчше с гóлоду умерéть...

— А ты бóльше болтáй при ма́льчишке, котóрый тóлько что приéхал в дом! — с усмéшкой проговори́л мýстер Бéльчér. — Ешь себé, Джим, — приба́вил он, обращáясь ко мне. — Хозя́йка сегóдня немnóжко не в дúхе, ей порá спать, она устáла.

Я побýнял намéк и поспешíл скóреé покóнчить с бóльшим ку́ском хléба, отпúщенным мне на ужин.

— Ну, тепéрь идí спать, — сказáл мне мýстер Бéльчér, когдá я объяви́л ему, что готов. — Ты найдёшь дорóгу назáд в кúхню, там у менé спят все ма́льчики, там тепло и хорошо. Устрóй себé отdельную постéль, мешкóв хвátit на всех вас. Прощáй. Утром мóжешь не вставáть, покá тебé не позовút.

— Ты дал ему рабóчее плáтье? — спроси́ла мíссис Бéльчér.

— Ах, я и забыл! Вот онó, — сказáл хозя́ин, подавáя мне из углá чёрный узел. — Рубáшку и сапоги оставь свой, а осталъное плáтье свернй хорошéнько и принеси мне зáвтра утром.

Я взял узел, пожелáл хозя́евам спокóйной нóчи и отпра́вил-
ся назáд в кúхню.

Паук и его собака.—Таинственная сажа

Огónь в кúхне ещé горéл, фонáрь был прицéплен к гвоздю, вбýтому в однú из переклáдин потолкá. Паúк лежáл, свернúвшись, рýдом со своéй маленькой собачóнкой, но Сéма я нигдé не вýдел. Без него я не знал, кудá и как мне лечь, и потому я искал его всíбду глазáми. Вдруг совсéм близко от менé раздáлся сбóнnyй полушóпот:

— Смотри, кто послéдний ложится, тот и свечу тóшил.

Я взглянúл вниз и увиðел Сéма. Он лежáл на кúче чéрных мешкóв; мешóк, слóженный вдвóбе, служíл ему подúшкой; шáппка его, вся замáзанная сáжей, была надвíнута на уши так, что из всей его фигúры я мог рассмотрéть тóлько бéлыe зúбы и белký глаз.

Удивítельно, как скóро человéк привыкат к рóскоши!

Если бы в запрóшлую ночь, когдá я дрожáл от хóлода в тéле, ктó-нибудь предложíл мне переночевáть в тéплой кúхне на кúче мешкóв и для этого пройтí семь иль вóсемь миль, я согласíлся бы с рáдостью. Тéперь же, прóспáв однú ночь на дивáне у мíссис Уíнкшип, я ужé с отвращéнием посмáтривал на грáзную постéль Сéма.

— Кудá же мне ложиться? — печáльным гóлосом спросíл я.

— Да, пожáлуй, ложíсь вмéсте со мной, — предложíл Сэм. — Возьмí из этой кúчи два мешká, один положí под гóлову, а в другóй влезáй сам. Тóлько смотри не шумí, не разбуди Паука, а то он бúдет всю ночь стонáть, не даст нам покоя.

Я рассчитáл, что так как мы с Сéмом бúдем лежáть в разных мешkáx, то я могу лечь вмéсте с ним, не особено наруша приказáние хозяина. Поэтому я быстро раздéлся, натянул на себя грáзные штаны из свáзки мíстера Бéльчера, приготóвил себé «подúшку», погасíл фонáрь и чéрез минúту лежáл на грýде мешkóв. Прáвда, от сáжи шéл сильный зáпах, но этот зáпах не помешал мне заснуть очень скóро и очень спокóйно.

Бýло почтí темнó, когдá менé разбудíл лай собачóнки Паука. Я увиðел, что Сэм встат на рабóту, а Нед Перкс от-

даёт ему какиे-то приказания, держа дверь открытой, несмотря на стоны и жалобы Паука. Через несколько минут Нед и Сэм ушли, а я, помня слова хозяина, что мне незачем вставать, пока меня не позовут, продолжал лежать. Вдруг я услышал, что Паук говорит сердитым голосом:

— Ты нисколько не лучше других. Ну, чего ты валяешься, точно теперЬ полночь, а не шесть часов утра? Ты небось здоров, так тебе и дела нет до больных. Чего ты меня лижешь? Не лизать надо, а вставать скорей да сдёшь что слеует! Ну, вставай же, ленивец! Постой, я тебя застаклю встать!

При этих словах раздался звук удара, затем внезапный визг. Собака подбежала к дверям и началася царапать их.

— Иши что значит здоровые ноги! — проворчал Паук. — Как бежит!

Он слез со своих мешков и, обхая, потащился за собакой.

— Чего ты торопишься, скотина? Хочешь усёрдие своей показать? А вчера, помнишь, что ты со мной сдёшала? До девятых часов оставил меня без огня! Смотри, сегодня будь умней! Нечего тебе меня лизать! Хочешь быть моим другом, так служи мне как слеует! НА вот, понюхай это! Иди и смотри возвращающейся скорей. Ксли ты и сегодня сыграешь со мной такую же штукку, как вчера, я тебя убью! Прямо, убью.

Я не мог разглядеть, что такое Паук давал нижать своей собачонке, я видел только, что он её выпустил из дверей, а сам, обхая, опять улегся на свой мешок.

Мы пролежали таким образом с четверть часа. Пауку надоело, должно быть, ждать своего четвероногого слугу, он начал бранить собаку и несколько раз приотворял даже дверь, чтобы посмотреть, не возвращается ли она. Наконец послышалось легкое постукиванье собачьих лап, а затем царапанье в дверь. Паук отворил дверь, и в комнату вбежала его собачонка, неся что-то в зубах. Я тотчас увидел, что это была обглоданная баранья кость. Но Паук, должно быть, не мог разглядеть её своими слабыми глазами.

— Иди, иди сюда, дрянная собачонка! — обратился он к собаке. — Довольно ты шалила — столько времени бегала за

одно́й пáлочкой! Ну, да дéлать пéчего, пálка тóлстая, хорóшая, давáй её сюдá! Пинч, голубчик Пинч, иди же сюдá!

Но собáка и не думала слúшаться своегó хозяина. Онá стрелой пробежáла мýмо него, забýлась в дáльний ýуг кóмнаты и леглá там на своó добýчу. Бéдный Пауk бесновáлся, он прóбовал подойтí к упráмой собáке, но едвá он сдéлал нéсколько шагóв, как больные ноги изменили ему и он упáл на пол. То-гдá, стоя на колéнях, он принялся осыпáть собáку отчáянными ругáтельствами. Гнев хозяина увеличивал рóбость Пинча, и он не двíгался из своего углá. Наконéц Пауку удалось кák-то на четверéньках добраться до собáки. Он замахнúлся, чтобы изо всей сíлы удáрить Пинча, но тот быстро отскочил в сторону, оставив своó добýчу.

— Ах ты, проклятый пéс! — вскричáл Пауk, увидев обглóданную кость. — Так это-то ты притащíл? Тебя посылают за дéревом, а ты таскáешь кóсти? Постóй же, я с тобой раздéлаюсь, только бы мне тебя поймáть!

И он, продолжáя браниться, принялся пólзать за собáкой.

Я не мог больше притворяться спáющим. Я приподнялся и спросíл у Паука, чего он сéрдится.

— Я ей покажу, как тóлько поймáю её! — отвечáл он, продолжáя преследовать собáку. — Я сказал, что убью её, и убью непремéнно! Подержí-ка её, пожáлуйста!

— Да что она такóе сдéлала? — спросíл я, пытаясь поймáть собáку, котóрая, как стрелá, промчáлась мýмо менé.

— Что она сдéлала?! — отвечáл Пауk, едвá переводя дух от устálosti. — Она прóсто смеётся надо мной. Она знает, что я не могу развестí огónь, покá она не принесёт мне дров. Это её рабóта кáждое ýтро. И что же? Вчera она мне принесла три грýзные, мóкрые щéпки, которые никудá не годíлись. Я её простил. Сего́дня дал ей нарóчно понюхать хороший, сухой кусок дéрева, чтобы она понялá, что мне нúжно, а она отпра́вилась прогуливаться, набралá себé костéй, да ещé смéла притащить их сюдá! Тепéрь она бýдет глодáть их, а я должен сидéть без огня, покá Сэм вернётся домóй — знáчит, часóв до десяти, до оди́ннадцати, — а у менé все кóсти нóют, мне так тяжело...

Гнев бéдного калéки сменился печáлью, он заплáкал и стал вытира́ть глазá свойми замáзанными рукáми.

— Пóлно, не плачь, това́рищ! — сказáл я, сíльно трóнутый его несчáстным положéнием. — У нас бóудет огóнь: я сейчáс схóжú и попрошу́ углéй у мýстера Бéльчера. Ведь он даст, не прáвда ли?

— Он-то дал бы, да онá не даст, — шóпотом проговорíл Пау́к. — Если онá узнаёт, что я развозжу́ огóнь, прéжде чем мáльчики возвращáются с рабóты, онá прóсто убьёт менéя. Оттого-то я и дóлжен пускаться на такиे хýтрости для добывáния дров.

— Ты мне скажí тóлько, где здесь поблíзости лáвка, — сказáл я. — Мы достáнем себé огнá, у менé есть полпéнни.

В прошлую ночь, когда я уезжал от мýссис Уйнкшип, она сунула мне в рýку шестипéнсовую монéту.

— Как, ты кúпиши углéй на полпéнни! — вскричáл Пау́к, и тýсклыые глазá его осветились рáдостью. — Лáвка тут близéхонько, сейчáс за углóм. А тóлько знаешь что? Мóжет, у тебе найдётся и ещё полпéнни?

— Найдётся. А что?

— Да вот кáбы нам заварить себé горячего кофейкý! Это тákáя прéлесть, когда все кóсти болят! У менé и котелóк есть, мы бы в нём и заварíли.

Если бы мне пришлóсь истрáтить на кóфе все 5½ пéнсов, которые должны бýли остáться у менé от покýшки углá, я и тогдá не мог бы устоять прóтив умоляющего взгляда Паукá.

Чéрез дéсять минút я вернúлся с покýпками, и чéрез час мы с Паукóм ужé сидéли у дымившегося котелká. Я пил кóфе из черепká разбýтого глýнянного кувшина, а он чéрпал стáрой же-лéзной лóжкой прýмо из котелká, заменявшего нам кофéйник. Горячий напítок успокибил боль бéдного Паукá, он повеселéл, разговорíлся и рассказал мне свою истóрию

Он был сиротá и с дéтства жил в рабóтном дóме. Четыре гóда назáд его óтдали в учéнье к мýстеру Бéльчера. Цéлый год дéло шло хорошó. Тóбиас (таково его настоящее ýмя) был очень лóвок и провóрен, за что и получíл прозвáние Паукá, а

мýстер Бéльчер кормýл, одевáл его и обучáл ремеслý. Но в оди́н несчастный зýмний день мýстера Бéльчера позвáли вýчи-
стить котёл парово́й машíны, дóлго стоявшей без употребле-
ния. Пауку пришлось залéзть в котёл и пролежа́ть почтý цéлый
день на промёрзшем желéзе, очища́я и выскрёбывая заржáв-
ленную внутренностъ котлá. Пóсле тако́й работы мáльчик про-
студíлся: у него сдéлся ревматизm в ногáх, он не мог не
только чистить трубы, но дáже просто стоять или ходить. Мý-
стер Бéльчер поселил его у себя в кúхне. Он дóлжен был при-
слúживать другим ученикам, варить им кофе на завтрак и кá-
шу на ужин. Когдá делá хозяина пошли худо и он был принуж-
дён распустить своих учеников, Тóбиас остался без дéла, но мý-
стер Бéльчер всё-таки обýзан был кормить его до истечения се-
милéтнего срока, обозначеннего в контráкте.

— А много дают тебе есть? — спросил я.

— Ну конечно, не столько, сколько я хочу. Да что, я жало-
ваться не могу: за что меня и кормить-то, если я ничего не дё-
лаю? А впрочем, послушать Сэма, так мне и здоровому при-
шлось бы сидеть без работы... Он говорит, что они иногда все
вместе в недéлю одного фýнта не зарабатывают.

— Они ведь, кажется, много получают за ночные работы по
деревням? — спросил я.

— Удивительно! — продолжал Паук, не расслышав моего
замечания. — Всего по фýнту в недéлю зарабатывают, а бес-
престáнно обновы себе шьют. Одной лóшади мало стало, дру-
гую купили, да еще какую хорошую! Сэм говорит — бежит
просто как паровоз.

— Ну что же, — заметил я, — иметь лóшадь да телéжку —
дёло выгодное.

— Да дёло-то в том, — понижая голос, сказал Паук, — что
они эту лóшадь держат цéлый день в конюшне под замком.

— Так они её украдли?

— Какое! Сэм видел сам, как они за неё заплатили три-
дцать фýнтов чистогáном.

— И никогда на ней не ездят?

— Днём никогда. Они запрягают новую гнедую лóшадь

только по ночам. Ты никому не говори, что я тебе сказа́л.

— Отчего? Разве это секрét, что у хозяина есть гнедая лошадь?

— Нет, секрét не в том, а в том, кудá онí на ней ездят.

— Как — кудá? Да наочные работы. Ты же сам говори́л, что это дёло вы́годное!

— Да, вы́годное! Деревенские трóбы ча́сто приходится чи́стить, и сáжи в них нет — по крайней мере, обыкновённой сáжи, — проговори́л Паук, с недоумéнием качая головой.

В эту минуту в кухню вошёл Сэм и своим приходом положил конец нашему тайно́венному разговору.

Я скоро узна́л, что Паук и Сэм говори́ли прáвду и что действительно, живя у мýстера Бéльчера, мне трóудно бы́ло вы́учиться ремеслу трубочиста. Мне почти совсéм нечего бы́ло дёлать. Редко случалось, чтобы у мýстера Бéльчера и Нéда Пéркса бы́ла рабо́та, и тогдá Сэм шёл с одним из них, а я с другим. Возвращались мы домо́й обыкновенно часо́в в 10 — в 11 утра́, да и та небольшая рабо́та, какую мне приходи́лось дёлать, бы́ла вовсе неутомительна. Я переноси́л часть машíны, когда мы переходи́ли из одногó дома в друго́й, передава́л пáлки мýстера Бéльчера, чтобы он их свýнчивал; свýзывал их в пучок, когда онí бы́ли разви́нчены, и, наконец, подмета́л пол кру́гом пéчек, когда рабо́та бы́ла кончена. После завтрака я мог дёлать что хочу́, и так как менé корми́ли хорошо, я вовсе не тревожился э́тим отсúтствием всяких занятий.

Мýстер Бéльчерь, повидимому, тákже не хлопота́л о том, чтобы доста́ть себе побольше рабо́ты.

— Хозяин! — сказа́л я ему́, когда мы однáжды утром шли на рабо́ту. — Окна всю́ду закрыты, и никто не зна́ет, что идёт трубочист. Хотите, я бúду кричать: «Трубочист, трубочист!» У менé сильный гóлос, многие менé услышат, и у нас бúдет вдéсятеро больше рабо́ты.

— Не нужно, Джим, — вáжно отвéтил мýстер Бéльчерь. — У менé на дверя́х есть вы́веска, и всякий, кому́ понадобятся мои услуги, мо́жет обратиться ко мне.

У него́ всегда́ бы́ло много́го́ дёне́г в кармáне. Утром он вмéсте с мýстером Пéрксом пил ром, а вечерá проводíл в пивно́й, где курíл трóбку и пьýнствовал.

Рáза два в недéлю онý отправля́лись на ночныхе рабóты и всегда́ брали с собóй Сéма. Сéм очень люби́л эти поéздки: перед отъéзdom его́ всегда́ корми́ли вкýсным úжином и давáли ему́ рýмочку рóма. Мýстер Бéльчér и Перкс отправля́лись вдвоём, в рабóчем пла́тье, и брали с собóй машáну для чистки труб и длинный мешóк с инструмéнтами, другóй мешóк пустóй, фона́рь и буты́лку с вóдкой. Возвращáлись онý домо́й иногда́ часá в два, иногда́ в четы́ре. Сéм расскáзывал, что ино́й раз рабóта окáзывалась ужé сде́лана кéм-нибу́дь другýм и́ли что её́ почемý-нибу́дь нель́зя испóлнить в э́тот раз, — тогда́ онý возвращáлись с пустýми рукáми. Когда́ же рабóта удавáлась им, онý привози́ли домо́й пólный мешóк сáжи. Тóтчас по приéзде онý отправля́ли Сéма спать, а сáми ещé дóлго возíлись в коню́шне, вероятно ухáживая за дорого́й лóшадью мýстера Бéльчera.

Нас, мáльчиков, особенно интересовáл вопрос: кудá девáется сáжа из деревéнских труб?

— Как ты дúмаешь, Сéм, — спрашивал я, — кудá онý прý-
чут э́ту сáжу?

— Не знаю, — отвечáл Сéм. — Нед Перкс стáсывает боль-
шой мешóк, напóлненный сáжей, в коню́шню, а по́сле онá кудá-
то исчезáет.

— Неужéли Нед берёт сáжу с собóй? — недоумевáли мы. —
Ведь у него́ нет заведéния для чистки труб.

Нед Перкс не жил у Бéльчera. У него́ был свой дом на
Ньюгéтской дорóге, и по окончáнию рабóты он по большей чá-
сти уезжáл тудá в мáленькой телéжке.

— И почемý э́то собачóнка Паукá так беспокóится, когда́
Перкс остаётся ночевáть у Бéльчera? — говорíл я.

— Я дúмаю, онá не ли́бит Пéркса, — отвечáл Сéм. — А мó-
жет быть, ей не нráвится зáпах деревéнской сáжи? Нед, веро-
ятно, всé же забирáет её с собóй, когда́ уезжáет. Пинч так виз-
жít и вóет, когда́ Нед ночу́ет здесь, что нель́зя уснúть...

— Мóжет быть, он чуёт крыс, — замéтил Сэм, когда Пинч бесновáлся сильнéе, чем всегдá, и рыл лáпами зéмлю у стéны, отделяющей кúхню от конюшни. — В конюшне вóдятся крысы.

— Нет, это не крысы, — шóпотом отвечал Паук, застáвив собáку и лáсками и угроzами лежать смíрно. — Дéло в том, что Перкс не уéхал и не уéдет сего дня. Это ужáсно! Прáвда, Джим?

— Ужáсно потому, что твой Пинч так вóзится, — отвечал я.

— Джим, — проговорил Паук чéрез нéсколько минут молчания, — ты знáешь что-нибудь о собáках? Онí ведь ýмные, мнóго понимáют, прáвда?

Мне очень хотéлось спать, но я жалéл Паукá, котóрый, очевидно, страдал бессónницей и хотéл поговорить со мной. Я расказаl ему две-три слýшанные мною истóрии об умé собáк.

— Да, иной раз онí ещé умнéе бывáют, — отвечал он, когда я кóнчил свой расскаzы. — Слыхáл ты что-нибудь об акýлах, Джим?

— Нет,ничегó.

— Эти акýлы очень забáвные твáри: если на корабlé умирает матróс, онí плывут за кормой, чтобы съесть егó, когда егó выбросят в мóре.

— Перестáнь, Паук, я не хочу слýшать такíе истóрии! Чéго ты менéй пугáешь? Кóли тебе хóчется разговáривать, я, по-жáлуй, готов поговорить о собáках, но уж тóлько не о мертвецах.

— Я тóлько хотéл сказать, что у собáк такóй же ум, как у акýл, Джýмми, тóлько онí этому не рáдуются, а бóйтся: как почýют, так и завóюят.

— Что почýают?

— Ну, ведь ты не хóчешь, чтобы я об этом говорил. Вот так же, как акýлы, и...

— Ну, довóльно, я не хочу бóльше с тобóй говорить. Прóщаý, я спать хочу.

На другóй день, идя с мýстером Бéльчером на рабóту, я кák-то к слóву повторил ему расскаz Паукá об акýлах. Он рассмеялся, а потóм спросил:

— С какой же стáти рассказáл он тебе́ эту истóрию? О чём шла у вас речь перед тем?

Я рассказáл о стрáнном поведéнии Пýнча и передáл весь наш разговóр с Паукóм. Мýстер Перкс был тákже при э́том. Онí с хозяином кák-то стрáнно перегляну́лись и услáли менá прочь. В э́ту ночь собáка Паукá исчéзла и не возвращáлась до-мóй, к вели́кому góрю своего́ хозяина.

XVII

Желание моё исполняется

Я прóжил недéль шесть у мýстера Бéльчера. Вдруг в однú суббóту, вéчером, Сэм пришёл в кúхню и сообщíл нам, что мýстер Бéльчер вы́писал его́ мать из Добретшира. Онá приéхала, дóлго о чём-то разговáривала с хозяином: в заключéние разговóра согласíлась уничтóжить контráкт и взять Сéма домóй. В понедéльник он дóлжен был уéхать с нéю вмéсте.

— Тéперь тебе́ хорошо́ бóудет, Джим, — сказáл Сэм. — Ты бúдешь е́здить с хозяином на ночные рабóты, а он за всякую поéздку даёт по шестí пéнсов, чтобы береглý его́ секрéт.

— Что же, я óчень рад, — отвечáл я. — Я привык держáть секрéты. А что, трóдно удержáть э́тот хозяинский секрéт, Сэм?

— Нет, óчень легкó. Хозяин сам тебе́ его скáжет.

— Нет, уж ты будь дóбрым товáрищем, скажí мне прéжде.

— Пожáлуй, тóлько не рассkáзыvай ни Паукý, ни другýм мáльчикам.

— Нет, как мóжно!

— Ну, пойдём во двор, а то здесь Паук уslýшил.

Мы вы́шли.

— Ты как дóумаешь, Джим, какýу сáжу привóзят онí по но-чáм в большóй телéге?

— Как — какýу? Из труб, я дóумаю, а то отку́да же?

— Из труб, конéчно, да из каких? Слúшай, Джим, мы при-вóзим сáжу из церкóвных труб!

— Ну, так что же такóе? Что за бедá, что из церкóвных?

— Тс! Тише! Видишь ли, есть такой закон, по которому нельзя чистить церковные трубы, а уж если чистить, так надо тайком. Кто на этом деле попадется, того накажут; ужасно накажут! Вобьют острые спицы в живот и будут таскать по дорогам. Вот почему они эту работу делают ночью, крадучись.

— Ну, а если поймают того мальчика, который стережет у них лошадей, его тоже накажут? — спросил я.

— Нет, как можно! Он ни в чём не виноват. Наказывают только тех, кого поймают за работой. Видишь, я думаю, вот отчего это. Верно, по закону церковные трубы должен чистить священник, а он поручает это дело дьячку, а дьячок сторожу, а сторож уж от себя нанимает трубочиста. И деньги он, конечно, платит хозяину хорошие, потому — дело опасное, да и за сажуничего нельзя получить.

— Отчего же? Разве это не такая сажа, как везде?

— Такая же самая, только её нельзя продавать, это строго запрещено законом. С хозяина берут клятву, что он не станет торговаться ею. Нед Перкс берёт её и зарывает у себя в огороде. Вот тебе и весь секрет. Мне сказал его хозяин и тебе скажет, а чтобы ты не болтал, он будет давать тебе по шести пенсов за каждую поездку.

Всё это Сэм рассказывал мне совершенно серьёзно, и я вполне поверили ему. Наконец-то узнал я настоящий секрет! И какой ещё секрет! Совсем необыкновенный, точно представление в Шортичском театре. Страшное наказание, которому, по словам Сэма, подвергались трубочисты, чистившие церковные трубы, нисколько не пугало меня. Напротив, опасность предприятия придавала ему ещё большую прелест в моих глазах, и я боялся одного: что, пожалуй, мистер Бельчер возьмёт вместо Сэма не меня, а кого-нибудь другого. Я обратился к Пауку и спросил у него, как он думает, кто теперь будет ездить с хозяином наочные работы.

— Как — кто? Известное дело, ты! Не меня же они возьмут с собой! Я живой домой не доеду! — решительно отвечал Паук.

Этот ответ не успокоил меня: мистер Бельчер очень тяготился Пауком, и я думал, что, пожалуй, он нарочно станет во-

зить его с собою, чтобы поскорее уморить. Паук, правда, не мог ходить, но он мог сидеть на козлах и держать вожжи, а это было довольно. Впрочем, сомнения мой скоро прекратились. В воскресенье вечером мистер Бельчер позвал меня в гостиную и, поболтав о том о сём, прямо объявил мне, что будет брать меня вместо Сэма для ночных поездок. Он не рассказал мне своего секрета, сказал только, что работы производятся по деревням и что о них не следует никому болтать.

— У всех хозяев, которые держат учеников, — сказал он мне, — есть свой секреты. У меня также есть секрет, я открою его тебе позже, и если ты станешь хранить его, тебе же будет лучше. У Сэма всегда водились денежки в кармане, и он знал вкус таких кушаний, которых другим мальчикам и понять не удаётся. Ты меня понимаешь, Джим?

— Конечно, понимаю! — с радостной готовностью ответил я.

— С другой стороны, — продолжал хозяин, — как ты думаешь, что бы я сделал с Сэном, если бы он стал болтать о моих делах?

— Я думаю, ему плохо пришлось бы, сэр, — отвечал я, робея при виде сердитого лица хозяина.

— Да, плохо! Так плохо, как, верно, не приходилось ни одному мальчику! Я просто взял бы его за горло... вот так... и задушил бы тут же на месте!

Говоря эти слова, мистер Бельчер стиснул мне горло своими длинными пальцами так крепко и посмотрел на меня так свирепо, что я совсем струился. Он, однако, скоро успокоился.

— С Сэном этого не случилось, — продолжал он прежним дружелюбным голосом. — Он был добрый, понятливый мальчик и за то получал от меня не побои, а пенсы. Теперь довольно. Я не скажу тебе сегодня ничего больше, ты сам увидишь, в чём состоит мой секрет, завтра ночью, если луна не будет светить.

На этом кончился наш разговор. Я поужинал вместе с хозяевами, и меня отпустили в кухню, напомнив, чтобы я не проговорился Пауку.

Весь следующий день я был в таком волнении, что не мог

дáже обéдать. Бúдет лунá иль нет? Этот вопрос не давáл мне покóя. Я не имéл никакóго понятия о движéнии луны и считáл появление её на нéбе дéлом случáйным. Под вéчер Паýк возбудíл во мне надéжду.

— Кóсточки мой, бéдные кóсточки! — жáловался он. — Опять разболéлись! Навéрно, к нóчи бúдет дождь.

Действительнo, в сúмерки пошёл дождь, а к нóчи погóда испортилась совсéм. Мíссис Бéльчér позвалá менé ужинать, как обыкновéнно звалá Сéма перед отправлéнием в ночнóю экспедициóю. Ужин был обильный и роскошный: он состоял глáвным óбразом из рубцóв, жáренных в мáсле, и из тéртого картóфеля. За столом сидéли, кроме менé, мýстер и мíссис Бéльчér и Нед Перкс. Когда мы кóнчили есть, мíссис Бéльчér по приказáнию своегó мýжа сдéлала мне полстакáна горячего винá, и я мýжественно выпил егó, хотя слéзы навернúлись у менé на глазá от этого крéпкого напítка. Мýстер Бéльчér и Нед Перкс тákже вдóволь угостíлись вóдкой, и мы вышли во двор, где ужé стояла телéга с запряжённой в неё гнедой лóшадью. Хозяин и Перкс накýнули себé по мешку нá плечи для защи́ты от дождя и усéлись рýдом в телéге, а я закрылся попóной и уютно уместíлся у них в ногáх. Крóме нас, в телéге помещáлись машíна для чистки труб и мешóк с какýми-то инструмéнтами, о которых я, так же как и Сэм, мог тóлько сказать, что они зvýкают, хотя и старáлся втихомóлку ощýпать их рукóй сквозь тóлстую ткань мешká.

Я не имéл ни малéйшего понятия о том, кудá мы éхали, но всé равнó поéздка доставляла мне необыкновéнное удовóльствие. Мы мчáлись ужáсно быстро, кругом всё было темно, дождь лил как из ведrá; мне представlýлось, что впереди нам грозят страшные опасности, но я не бóялся их; напрóтив, мне хотéлось, чтобы они скорéй настáли.

Мы проéхали, навéрно, миль дéсять, когда мýстер Бéльчér поворотíл к колóде, стоявшей вóзле дорóги, и остановíлся напоить лóшадь.

— Не знаю, как вы, Нед, — сказал он, — но я промóк до костéй. Нáдо бы нам немнóжко выпить, чтобы согréться.



— Пожалуй, выпьем и пошлём мальчика купить еще бутылку в этом кабачке.

Они достали бутылку, напились сами, дали мне также добрый глоток крепкой водки и послали меня в кабачок долить бутылку.

Когда я вернулся с водкой, мистер Бельчер опять погнал лошадь, и мы понеслись вперед скорее прежнего.

— Жаль, что мы не захватили еще мешка, — проговорил Нед Перкс. — Меня ужасно мочит дождь.

— Да ведь у нас есть еще длинный мешок, Нед, — отвечал хозяин. — Закройтесь им.

— Закрыться-то можно, да...

— Да что? Вы боитесь, что тот, для кого он приготовлен, простудится? — смеясь, заметил мистер Бельчер.

— Ну, этого, положим, ничего бояться, — отвечал, также смеясь, Нед. — Дай сюда этот мешок, Джим.

Я подал ему длинный мешок, лежавший подле меня на дне телеги, и в первый раз почувствовал какой-то смутный страх. О ком они говорят? Ведь этот мешок предназначается для сажи. Кто же может простудиться?

Сильный дождь всё ещё продолжался, когда мистер Бельчер остановил лошадь.

— Ну, — обратился он ко мне, — теперь я расскажу тебе часть своего секрета. Видишь там эту церковь?

Я взглянул в темноту по тому направлению, куда он мне указал, и с трудом различил туманную тень церковной колокольни, а около неё другие низкие сероватые фигуры — должны быть, надгробные памятники.

— Мы пойдём туда чистить трубы, — прошептал он. — Мне некогда рассказывать тебе все подробности... Одним словом, чистить трубы в церквях нельзя у всех на глазах, понимаешь?

— Понимаю, сэр, — не совсём смелым голосом отвечал я.

— Ты, должно быть, промок, да и спать хочешь, — добродушно заметил хозяин. — Возьмай хлебный ещё глоток водки — это тебя оживит.

С этими словами он поднес бутылку к моим губам. Глоток водки действительно оживил меня, и я снова вполне поверили, что мистер Бельчер идёт чистить трубы в церкви.

Спутники мой вылезли из телеги и, подведя лошадь к группе деревьев прямо против калитки, остановились.

— Вылезай, Джим, — прошептал хозяин, — и стой подле лошади, пока мы кончим работу. Мы упрашиваемся скоро. Слышишь, на церковных часах бьёт двенадцать? К половины первого мы вернемся, и я дам тебе за труды. Ты теперь молодцом, правда?

— Да, сэр, благодарю вас, — отвечал я бодро.

— Тебе не страшно, что здесь так близко кладбище?

— Нет, никаких! — И я засмеялся, чтобы убедить его в своей храбрости.

Тогда Нед вынул из тележки инструменты, мистер Бельчер зажёг фонарь, они вместе вошли в калитку, отправились по дорожке в церковь и почти в ту же минуту исчезли в темноте.

И вот я ждал, держа гнедую под уздцы. Дождь лил как из ведра, и я промок до костей, потому что теперь попоной была покрыта лошадь. Я ничего не видел перед собой, кроме не-

я́сных очерта́ний ма́леньких серовáтых фигúр на клáдбище и большóй сéрой колокóльни; я ничего не слы́шал, кроме шúма дождя, барабáнившего по лíстьям дерéвьев, по доскáм телéги и по грúбой попóне, накýнутой на спíну лóшади. Невéсело мне бы́ло стоять в таку́ю погóду одному, в полночью, сре́ди непро-глáдной тьмы, у ворót клáдбища, но я утешáл себé мы́слью, что э́то скóро кончится. Онí скóро вернúтся с сáжей, я получу́ своё шестипéновую монéту, лóшадь во весь дух побежйт назáд домóй, я заберúсь в свою тёплую постéль, и мне бúдет очень вéсело вспоминáть обо всём э́том.

На часáх прóбило чéтверть пéрвого. Знáчит, прошлá только половíна врémени, назнáченного мне мýстером Бéльчером. Я начáл чўвствовать беспокóйство. Ведь привидéния не сущес-твуют на сáмом дéле, э́то все бáбьи скáзки, а мéжду тем у менá становíлось кák-то жútко на сéрдце, и я беспрестáнно поглáживал лóшадь, чтобы услы́шать хоть её ржáнье. Вот на часáх прóбило половíну пéрвого.

«Тепéрь все кончено, — подумал я, — чéрез минúту онí вернúтся».

И минúту, две, три, четы́ре глазá мой бы́ли устремлены на церкóвную дорóжку, в надéжде уви́деть Нéда Пéркса с меш-ком сáжи. Но он не приходíл, никто не приходíл, ничего не было ви́дно. У менá начáли стучáть зúбы, и менá охватila прéжняя рóбость. Я поглáживал лóшадь, я назывáл её рáзы-ми лáсковыми именáми, но она стояла неподвижно, как над-грóбная стáтуя.

«Гу, гу, гу!»

Это был, вероятно, крик фýлина, но я перепугáлся до того, что не мог больше вы́дергать. Я решíл пройти́ неско́лько ша-гóв по тропíнке и прислу́шаться, не идёт ли хозяин. Я подло-жил кáмни под колёса телéжки, чтобы гнедáя не вздúмала увезти́ её, и пошёл. Кругом было так темнó, что я ничего не ви́дел за три шáга и дóлжен был ощúпывать зéмлю ногáми, чтобы не сбýться с дорóги. Я шёл все дáльше; вдруг ногá моя наткну-лась на что-то большóе и твёрдое. Я вздрóгнул и отшатнúлся, но чéрез минúту собрался с дúхом и ощúпал испугáвший менá

предмёт. Каково же было моё удивление, когда оказалось, что это была наша машина для чистки труб! Сначала мне пришло в голову, что хозяин и Нед стоят где-нибудь поблизости и спустили машину на землю лишь затем, чтобы немножко отдохнуть; но напрасно я присматривался, напрасно я прислушивался: ничего не было ни видно, ни слышно. Вдруг около самой церкви блеснул луч фонаря, и я заметил, что его свет приближается ко мне. Я побежал без шума назад по дорожке, вынул каменья из-под колес и как ни в чём не бывало стал подле лошади.

Прошло ещё несколько минут ожидания, и наконец в нескольких шагах от меня обрисовались две фигуры. Нед сгibaлся под тяжестью большого мешка, а мастер Бельчер нес инструменты, в том числе и машину. Они остановились у калитки, и мастер Бельчер спросил тихим голосом:

— Всё благополучно, Джим? Никто не приходил? Никто с тобой не говорил?

— Никто, — отвечал я.

Они начали укладывать мешок с сажей в тележку и на минуту открыли свой потайной фонарь. По виду они скорей походили на землекопов, чем на трубочистов. Их руки, ноги и всё платье были перепачканы глиной, комья глины покрывали и мешок с сажей. Когда мешок был уложен, они оба выпили водки, и мне хозяин также дал несколько глотков.

— Пей смело, мальчик, — сказал он, — от этого вреда не будет. Ты у меня молодец, вот тебе за это шиллинг.

Он дал мне монету, а мастер Перкс ласково погладил меня по голове.

— А как мы поедем назад? — спросил Нед. — Мальчику, я думаю, лучше сесть между нами.

— Нет, — отвечал мастер Бельчер. — У меня уже лежит один в ревматизме; пожалуй, и этот также простудится... Полезай на дно, Джим; попоны мы положим себе на колени, одиним её концом ты можешь прикрыть себе плечи. — И он притиснул меня вниз, в угол тележки.

— Не клади голову на мешок с сажей, — заметил мастер Перкс. — Он мокрый, ты себе простудишь уши.

Усéвшись как слéдует, мýстер Бéльчér уда́рил кнутóм лóшадь, и онá помчáлась, как бúдто ráдуясь тому, что мóжет на-конéц распра́вить свой иззябшие ноги.

Стráнный ýжас, охвативший менá, когда я сде́лал удиви́тельное открытие на церкóвной тропíнке, всé возрастáл. Ясное дéло, что мýстер Бéльчér е́здил вóвсе не за тем, чтобы чистить трóбы; он дáже не брал с собой в цéрковь машíну, он остав-лял её на дорóге. А мéжду тем мешóк был полон. Полон, но чём? Как узнáть? Мýстериу Пéрксу не надо бы́ло и предупре-ждáть менá, чтобы я не ложíлся на мешóк: э́тот мешóк внушáл мне такóй ýжас, что я не смел дáже взглянúть на него. А мéж-ду тем любопытство мýчило меня сильнéе и сильнéе. Нужно бы́ло узнáть истину во что бы то ни стáло. Осторóжно вы́тянул я ногу и ощúпал мешóк: он оказа́лся мягким. Мóжет быть, это в сáмом дéле сáжа? Нет, недоумéние слíшком мучительно, я дóлжен знать прáвdu. В кармáне моём лежáл складнóй нож. Я вы́ташил его, осторóжно раскрýл и, наклонившись к мешку, бы́стро, однýм удáром, прорéзal большóе отвéрстие. О ýжас! На мою рóку, еще держáвшую нóжик, вы́валилась человéче-ская рукá, холóдная как лéд! Я громко крикнул; испугáвшись э́того крика, лóшадь рванúлась вперёд быстрее прéжнего, я же вмиг перескочил чéрез задóк повóзки и со всегó размáха шлéп-нулся в грязь. Лицо моё бы́ло разбýто, но ноги остáлись цéлы и невредíмы. Я побежáл вперёд. Сзáди раздавáлся мужской голос. Я слýшал тóпот чýх-то дюжих ног. За мной былá по-гóня.

XVIII

Сцена более страшная, чем все представления в театре

— Воротíсь! — кричáл мне Нед Перкс.— Воротíсь! Если ты не остановишся и не перестанешь кричáть, я свернú тебé шéю!

Как я мог остановítъся? Я был убеждён, что мýстер Бéль-чér убийца, и вéрил, что Нед Перкс свернёт мне шéю. Я бежáл,

едвá переводя́ дух, беспрестáнно спотыка́ясь и шлёпая по жíдкой грязí дорóги, но всé-таки успéл несколько раз крикнуть «карау́л». Вдруг разда́лся свист мýстера Пéркса, а затéм тóпот гнедóй. Конéчно, на лóшади онý менá в минúту дого́нят. Дрожá от стрáха, я залéз в канáву и лéг там на живóт. В канáве былá водá, так что я дóлжен был подпирáться локтýми, чтобы держáть лицó над водóй. Густáя травá и кусты рослý с обéих сторóн её и совершéнно закрывáли менá.

Чéрез несколько секúнд Нед Перкс добежáл до того мя́ста, где я лежáл, и мýстер Бéльчер нагнáл его в повóзке.

— Поймáли? — тревóжно спросíл он у Нéда.

— Да он не мог далекó убежáть, — отвечáл он. — Удивýтельное дéло! Что éто с ним сдéлалось?

— Нáдо его скорéй поймáть, Нед, — сказáл хозяин. — Он мóжет выдать нас! Он всé открыл, смотрите сюдá!

Он навéл свет фонаря на телéгу: вéрно, покáзывал Нéду разréзанный мной мешóк.

— Ах, прокля́тый мальчишка! — вскричáл Нед. — Ну, вы не беспокóйтесь, хозяин, я с ним раздéлаюсь! Погоняйте лóшадь, а я побегу, держáсь за край повóзки. Мы его мýгом до-брóним.

К моéй невообразíмой ráдости, совéт мýстера Пéркса был прýнят, и я услышал удаляющíйся стук копыт гнедóй лóшади. Но что же мне бы́ло дéлать? Если я побегу вперéд, я могу́ их нагнáть; если побегу назáд к Лóндóну, онý менá скóро нагóнят. В недоумéнии я вылез весь мóкry из канáвы и взобрáлся на дорóгу, как вдруг из-за кустов вы́шел человéк и положíл мне рóку на плечó.

— Что случíлось, мáльчик? — спросíл он. У него́ был фона́рь, и он напráвил на менá свет. Сам он был высóкий мужчýн в космáтом пальто, в шляпе с ширóкими полями и с ружьём в рукáх. — Отчего́ у тебя́ лицó в кровí? — продолжáл он. — Кто засадíл тебе́ в канáву? Не те ли молодцы в телéге, а?

— Нет, сэр, — дрожáщим гóлосом отвечáл я, — я сам залéз в канáву. Не вы́дайте менá им, сэр, онý убýют менá! Онý убýйцы...

— Как — убийцы? Что такоё? — с удивлением спросил лесничий (человек, встретившийся мне, был лесничий).

Я рассказал ему, что видел в таинственном мешке.

— Куда же они теперь поехали? — спросил он, видимо сильно взволнованный моим рассказом.

— Они поехали в погоню за мной, сэр, — отвечал я. — Они скоро вернутся. Им надо ехать в Лондон, на улицу Уикенду, — там живёт мастер Бельчер, сэр.

— А! Ну, если это правда, мы им приготовим славную встречу!

Лесничий взял меня за руку, перескочил опять через канаву, вошёл в небольшую рощу около дороги и несколько раз нетерпеливо свистнул. Минуты через две к нам подошёл другой лесничий с двумя огромными собаками. Я должен был повторить ему историю с мешком.

— Ну, они от нас не уйдут! — сурьёзным голосом проговорил он.

Собаки бросились на меня, и одна уже схватила меня за штаны.

— Куш! — прикрикнул на них второй лесничий. — Садись сюда, мальчик! Дюк! Слот! Стерегите его.

Я сел на землю, а обе собаки стояли подле меня, и я видел по их глазам, что они не позволяют мне сделать ни одного движенья.

По дороге раздался стук лошадиных копыт; слышно было, что лошадь гнали во весь дух.

С того места, где я сидел, сквозь ветки кустарников я ясно видел дорогу. Я заметил, что один из лесничих вышел на середину дороги и стал там, где должна была проезжать телега. Шум колёс слышался всё ближе и ближе, паконец они подъехали совсём близко, и вдруг раздался ружейный выстрел. Я от страха закрыл на минуту глаза, и когда снова открыл их, глазам моим представилась следующая картина. Гнедая взвилась на дыбы, и её с большим трудом удерживал под уздцы один из лесничих; другой освещал своим фонарём телегу и перепуганных трубочистов. Нед Перкс размахивал кнутом и



кричáл, грозý размозжíть гóлову человéку, удéрживавшему лóшадь. Мýстер Бéльчér притворялся спокóйным.

— Что вам нáдобно, ребýта? — говорил он лесníчим. — Если вы разбóйники, так с чегó же вы вздúмали напада́ть на бéдных трубочистов? Убирайтесь-ка без грехá, пустите лóшадь, не то онá мóжет убить вас!

— Именем закóна мы вас арестуем! — произнёс торжéственным голосом лесníчий, держáвши фонарь.

— Арестуете нас? Вот так штúка! Да за что же?

— За убийство. У вас в телéге лежít téло убитого чело-вéка!

— Всё пропáло! Бегите, Бéльчér! — вскричáл Нед и однýм прыжком перескочил чéрез край телéги.

Мýстер Бéльчér послéдовал егó примéру, но едвá он ступíл на зéмлю, как лесníчий нанёс ему приклáдом ружýя такой сíльный удáр по головé, что он упáл зáмертво. Нед Перкс мéждú тем бросился бежа́ть — и прýмо в мою стóрону. Он, ве-роятно, наткнулся бы на менá, если бы крик ужаса, вырвав-шийся из груди мœéй, не застáвил егó остановиться. Тогдá он взглянúл на менá, и на юнцé его выразилась злóбная ráдость. Он пóднял большую желéзную пálку, которую захватил с со-бóй с телéги, и готовился нанести мне смертéльный удáр. Но собáки вéрно побýли данное им приказáние стерéчь менá. Прéжде чем пálка успéла опуститься на мою гóлову, онí на-брóсились на Нéда, повалили егó на зéмлю и крéпко держáли: однá — зá руку, другáя — за шéйную косынку.

Лесníчий, держáвши лóшадь, быстро подбежа́л к нам и, не говоря ни слова, лóвко скрутíл Пéркса по рукам и ногам.

— Мой готóв! — вскричáл он затéм, подбега́я к телéге. — А ты, Том, осмотрéл... что тот беднýга? Он в сáмом дéле мéртвый?

Том зáнят был в это врéмя подробным рассмáтриванием по-вóзки.

— Да, он мéртвый! — отвечáл Том. — Он, должно быть, умер по краиней мéре с недéлю назад.

— Как — с недéлю? Мóжет ли быть? Что за злодéи!

— Злодéи-то — пожáлуй, тóлько никáк не убýйцы, Джо. Онí никого не убивáли, онí тóлько выкáпывали мёртвые телá. Видишь, у них тут в мешкé разные инструмéнты, бурáвы, лом, лопáты. Ну, всё равнó, им и за э́то слáвно достáнется! Пóсобý-ка мне уложíть их в повóзку, мы свезём их в Ильфорд¹ — там их рассу́дят...

— А что, другой молодéц свя́зан? — спроси́л Джо, слезáя с повóзки.

— Он, я дóумаю, ещé не очнúлся от моегó удáра. Впрóчем, для большей безопáсности, конéчно, лúчше связáть и егó.

Джо обошёл вокrúг повóзки до тогó мéста, где за нéсколько минút перед тем лежáл без чувств мýстер Бéльчér, и вскрикнул от удивлéния:

— Да он ушёл! Егó нет!

Это былá прáвда. Холóдный дождь, вероятно, оживи́л мýстера Бéльчera, и он бежáл, унеся́ с собой однó из рýжей, оставлeнных лесníчим пóдле повóзки.

Преслéдоватъ егó в тéмную, дождли́вую ночь бы́ло невозмóжно.

— Нéчего дéлать, свезём хоть одногó! — сказáл лесníчий Том.

Онí пóдняли с землí мýстера Пéркса, уложíли егó на дно телéги и сáми сéли в телéгу.

— Позвольте мне лúчше бежáть рýдом с телéгой, — попро-
си́л я, боясь садиться пóдле Пéркса, смотрéвшего на менé со
стрáшной злóбой.

— Пустяк! Тебé нéчего бояться, — отвечáл Джо, втáски-
вая менé в телéгу: — он не посмéет и пáльцем тебя трóнуть.

Он втащíл менé в телéгу, удáрил кнутом по лóшади, и мы
поéхали в Ильфорд, находíвшийся от нас на расстоянии двух
миль.

Перкс дeйствительно не трóнул менé пáльцем, но он сдéлал
хúже: он напуга́л менé дó смерти.

— Джим! — крикнул он, едвá мы отъéхали нéсколько шагов.

¹ Рабочий квáртал в Лóндоне.

— Не отвечай ему, — посоветовал мне лесничий Том.

— Джим, — продолжал Перкс, — ты слышал, хозяин ушёл и ружьё с собой захватил. Не знаю, много ли ты наболтал, только больше не болтай!

— Садись сюда, вперёд, мальчик, — сказал лесничий Джо. — Тогда тебе не слышно будет, что он говорит.

Я с удовольствием сел подальше от Перкса, но он кричал так громко, что я услышал бы его, если бы находился на другой стороне дороги.

— Джим, — говорил он, — помнишь, что тебе обещал хозяин, если ты когда-нибудь проболтаешься насчёт его работы? Он своё слово сдержит, ты в этом будь уверен! Может быть, пройдёт неделя, пройдёт две, а он всё-таки не забудет своего обещания. Ты не надейся, что судья защитит тебя: судья за всем не усмотрит, и хозяин может вмиг сделать с тобой то, что говорил. Ты будешь лежать на постели за сто миль отсюда, дверь будет заперта на замок, труба будет закрыта железными заслонками, и вдруг ты проснёшься и увидишь, что он подходит к тебе — подходит, чтобы сделать то, что обещал. Ты это помни и смотри будь осторожней!

Лесничие нарочно громко говорили и стучали ногами по дну повозки, чтобы я не слышал Неда. Но я слышал каждое его слово, и на меня напал такой ужас, что я чуть не бросился прямо под колёса.

Моим покровителям хорошо было говорить: «Не слушай его, мальчик, он нарочно хочет запугать тебя. Тебе нечего бояться, если ты скажешь всю правду в суде». Они не знали мистера Бельчера, они не знали, чем он грозил мне, если я преболтаюсь, и какой у него был при этом вид. «Тебе нечего бояться! А кто же защитит меня? Неужели те полицейские, от которых я бегал всю жизнь, вдруг станут моими лучшими друзьями? Да если бы даже это случилось, разве они могут каждую минуту стеречь меня? Во время нашего разговора за ужином мистер Бельчер ясно показал мне, как мало времени нужно на то, чтобы задушить мальчика. Кроме того, когда я узнал, что хозяин вовсе не убийца, во мне явилось сомнение,



не глúпо ли я сдéлал, вýдав егó. Я раскаивался, что заварíл ёту кáшу, и решíлся послéдовать совéту Нéда и болтáть как мόжно мénьше, когдá меня позовут к судье.

Нау́тро менé вызвали в приёмную кóмнату полицéйского дóма. Все полицéйские собрались óколо менé и все были необыкновéнно разговóрчивы.

— Ну, мáльчик, — лáсково сказáл полицéйский инспéктор, — тепéрь расскажí мне всё, что ты знаешь о своём бывшем хозяине... Э, да он, вéрно, совсéм продрóг! У него мóкroe плáтьe, ему нáдо переодéться.

— У нас есть подходящее сухóе плáтьe, — сказáл одиn полицéйский. — Я егó сейчас принесу, господиn инспéктор.

Когдá менé переодéли и залепили мою шíшку плáстырем, инспéктор велéл напойти менé горячим кóфе и тóлько тогдá приступил к расспрóсам.

Полицéйские внимáтельно слúшиали.

— Скажí, мáльчик, чáсто ли твой хозяин ёздил на noctnúю рабóту? — спросíл он.

— Не знаю, сэр, — отвéтил я, опускáя гóлову.

— Как так не знаешь? Ведь ты жил с ним под однóй кróвлей!

— Он никогдá не брал менá ráньше с собóй, сэр. Я спал иничегó не слыхáл.

— Мне не нráвятся твой отвéты, мáльчик. Ты дóлжен говорить всé, что знаешь. Скажí-ка áдрес твоегó хозяина.

— Я его забыл, сэр.

— Ну, э́то уж ты лжёшь! Мáльчик твойх лет не мóжет забыть áдрес дóма, в котóром прóжил стóлько врéмени! — рассердýлся инспéктор.

— Чéстное слóво, сэр, я так перепугáлся вчera нóчью, что всé вылетело у менá из головы.

— Но ведь ты назывáл э́тот áдрес вчera нóчью лесníчему... И какáя досáда, что тот действítельно забыл егó! — обратíлся инспéктор к одному из полицéйских. — Постарáйся припомнить, — повернúлся он сно́ва ко мне.

— Я забыл, яничегó не могу вспóмнить, — угрюмо повторял я.

— Ну хорошо, — стрóго замéтил инспéктор. — Уведите егó. Но пóмни, мáльчик, что зáвтра тебé застáвят говорить всю прáвду.

Я не повéрил, а мéжду тем дéло вышло так, как он предскáзывал.

XIX

Я убегаю от полиции

На другóй день мýстера Пéркса и менá привелý в суд для допрóса. Должно быть, сúдьи ужé знали о моём намéрении как мόжно мéньше говорить, и оди́н из них, седой, в зелёных очkáx, прýнял менá так сурóво, что на менá сráзу напáла рóbость.

— Смотри на менá, мáльчик! — вскричáл судья, удáрив руко́й по столу так грóмко, что у менá захватíло дыхáние.

Я взглянúл на него и стрýсил ещё бóльше. Он смотрéл прýмо на менá свойми зелёными глазáми, а двáдцать полицéйских покóрно стояли вокrúg, готовые повиновáться малéйшему егó знáку.

— Не смотри на арестáнта, мáльчик! (В э́то врéмя Нед

Перкс кáшлянул, и я обернúл гóлову в егó стóрону.) Смотрý тóлько сюдá! Понимáешь ты, что знáчит давáть присягу?

Мóулди, особéнно любíвший всякие расскáзы о судéбных делáх, объяснил мне éто, и потому я отвечáл:

— Это знáчит целовáть евáнгелие и кля́сться, что éсли со-врёшь, так бúдешь накáзан.

Глазá мой были прикованы к зелёным очkám судý; нако-нéц у менé навернúлись слёзы, как бúдто я смотрéл на солнце.

— Да, éсли ты, дав присягу, соврёшь, — всé тем же стрóгим голосом сказál судý, — ты бúдешь стрóго накáзан: тебе сошлóт зá море, в кáторжные рабóты... Приведите егó к при-сáге... А ты, подсудíмый, не смотри на свидéтеля, покá егó до-прашивают.

Как мог я не говорить при такíх услóвиях! Судý был та-кóй бедóвый человéк. Он, казáлось, знал всé дéло и предлагáл мне такíе вопросы, что я вóлей-невóлей должен был подрóбно рассказáть ему всé. Я рассказал всé: как я ушёл из дóма, как мýсс Уинкшип поместíла менé к мýстеру Бéльчеру, какóй раз-говоró был у менé с Сéмом по поводу чистки церкóвных труб — слóвом, всé, до той сáмой минúты, когда, испуганный появлé-нием белой рукí, я выпрыгнул вон из телéги. Тут же, на судé, я узнáл, в чём заключáлось преступлéние мýстера Бéльчера.

В те дáвние времена врачí и студéнты, из-за религиóзных предрассудков, не могли изучáть анатóмию на человéческих трúпах. Это считáлось грехом. Поэтому в Англии тогдá существовáла профéссиya «гробовскрывáтелей», которые тайкóм про-биráлись тёмными ночáми на клáдбище, выкáпывали из могíл недáвно погребённых покóйников и продавáли их за боль-шие дéньги разлýчным медициýским учреждéниям.

Этим дéлом занимáлся и мýстер Бéльчер.

Пóсле менé лесníчие Тóмас и Джóзеф дáли свой показá-ния, и затéм было решено отложить дéло на недéлю, чтобы по-лиция успéла арестовать мýстера Бéльчера и тákже представить на суд.

— Мáльчика всегó лúчше отпра́вить домóй к родítелям! Кто поведёт егó, тот пусть пострóже внуши́т егó отцу, что чéрез

недéлю непремéнно нáдобно опять представить его сюда! —
сказа́л судья в зелёных очкáх.

Суд занялся другим дёлом, а я вышел на улицу вместе с лесничими и несколькими полицейскими. Они потолковали о чём-то между собой и все вместе вошли в соседний трактир, а я, едва сознавая, что делаю, попался вслед за ними. Меня ошеломили ужасные слова: «Мáльчика всего лучше отпрáвить домой к родителям!» Эти слова довершили беду. И зачём, и зачём я вмешался не в свою дело! «Лучше отпрáвить домой! Я приду к отцу с полицейским, который расскажет ему о моих делах с гробовскрывателями и о том, что меня поместила к ним ни в чём не виноватая миссис Уинкшип! Да он просто убьёт и меня и бедную старуху! Так-то я отблагодарил её за её доброту? Нет, это слишком ужасно! Этого не должно быть! Я должен сделать что-нибудь, чтобы предотвратить это несчастье, и я сделала, непременно сделала, хотя бы для этого мне пришлось послушаться страшного судью в зелёных очкáх! Мне необходимо было ускользнуть от моих теперешних сторожей, выбраться из Ильфорда и спрятаться в каких-нибудь лондонских закоулках. Я говорю: от моих сторожей, но на самом деле меня, казалось, никто не стерёг. Я попробовал выйти из этой комнаты, где лесничие и полицейские пили пиво, — они не обратили на меня внимания; я вышел во двор, затем на улицу — никто не преследовал меня; значит, я могу уйти без помехи. Но я знал, что полицейские — народ хитрый, что они следят за всяkim исподтишка, и потому решil возвратиться, посидеть несколько времени в пивной и послушать, о чём там говорят. Оказалось, что полицейские говорили обо мне.

— А, вот и он! — заметил один из них, когда я вошёл. — Ты бы держался поближе к нам, мальчик, а то, пожалуй, тебя схватит тот молодец с ружьем.

Это, должно быть, была шутка, потому что другой полицейский и лесничие засмеялись.

— А что, мальчик, — спросил один из полицейских, — рад ты будешь попасть домой и избавиться от всех опасностей?

Я знал, что если я скажу, что не хочу идти домой, то поли-

цéйский стáнет особенно стрóго присмáтывать за мной; поэтому я отвечáл:

— Конéчно, я бúду óчень рад. Я бы хотéл поскорéй пойtí домóй — тепéрь уж я бóльше не убегу.

— Ты знаéшь дорóгу отсíода домóй?

— Отлично знаóю, сэр. Мóжно мне сейчáс идти?

— Нет, ты не мóжешь идти тудá, покá я не освобожусь от свойх занýтий и не сведú тебý. Это бúдет часá в четы́ре, когда кончится заседáние в судé. Но ты не дóлжен непремéнно сидéть здесь — ведь ты не арестáнт, а свидéтель. Ты мóжешь пойtí в полицéйский дом, посидéть там йли просто погулять по ýлице. Тóлько не заходи далекó.

Я едвá мог удержáться от востóрга при ýтих словáх. Я не арестáнт, я свидéтель и могу гулять!

— Благодарó вас, сэр, — произнёс я и вышel из трактира с беспéчным вíдом прогуливающегося человéка. Тýхими, нетороплýвыми шагáми пошёл я по йльфордской дорóге, которая велá прýмо к Лóндону. Счастлýвый слúчай избáвил менé от утомýтельного путешéствия. Как тóлько дом судá скрылся из глаз мойх, менé догнáл экипáж с óчень удобóными запýтками, не утыкаными гвоздáми. Я лóвко вскочил на них и помчáлся к Лóндону с быстротóй десяти миль в час. Я проéхал чéрез Большóй и Мáлый Ильфорд, доéхал до сáмого Мáйль-Энда, но тут дóлжен был сойти со своего удобóного экипáжа благодаря нíзости одногó мальчугáна. Ему тákже хотéлось прокатýться дáром, и, вíдя с досáдой, что на запýтках нет мяста, он стал трéбовать, чтобы кýчер согнáл и менé. Кýчер послúшался ма-ленького негодáя. Я был так рассéржен на дряннóго мальчишку, что набróсился на него и отколотил его, хотя ýта задéржка в путí могла быть опасной для менé.

Конéц дорóги мне пришлóсь сдéлать пешкóм; я часá в два был óколо Уáйтчепеля. Я совсéм не знал ýтой чаáти гóрода но под Арками я познакóмился с нескóлькими мальчишками, пришéдшими оттúда: они рассkáзывали, что ýто сáмое глухóе място Лóндона. Мне ýменно нýжно было тепéрь глухóе място, со мнóжеством проходных дворóв и извилистых переýлков.

Пéрвым и величáйшим мойм желáнием было укрыться на нéсколько врémени, покá кончится несчастное дéло о похищении трúпов, и тогдá... Впрóчем, еще рáно дýматъ о том, что бýдет тогдá. Нáдо позаботиться о том, что дéлать тепéрь. Чéрез какóй-нибудь час ильфордский полицéйский дом начнёт обо мне беспокóиться, менé стáнут разыскивать и потому мне прéжде всегó нýжно кудá-нибудь спрятаться. Я прошёл с дюжину у́зких и грýзных переулков и наконéц приютýлся в однóй необыкновéнно тýхой съестной, где истратил на пищу четыре пénса из своеого шíллинга. Хозяин лáвки пускал к себе ночевать и давал постéли по четыре пénса, поэтому я с его позволéния остался в лáвке до вéчера, съел за ужином порцию сúпа в оди́н пенс и затéм улёгся спать в довóльно удобной постéли.

Я проснýлся на другóй день утром, сошёл вниз в лáвочку, истратил на завтрак оставшиеся у менé три пénса и вышел на улицу. Цéлый день бродил я по улицам, выбирая сáмые бéдные и тёмные закоулки и со стрáхом избегая встрéчи с полицией. Под вéчер гóлод напóмнил мне, что я не обéдал и что мне, вероятно, не придётся ужинать.

«Нéчего ждать и прýтаться, — говорил мне гóлод, — ты должен чтó-нибудь дéлать!»

Но что же мне дéлать? Кудá я ни пойдú, я тóлько хýже испóрчу свое положение. Испóрчу? Да разве мóжно мне его ещё испóртить? Онó так хýдо, что едвá ли мóжет сдéлаться еще хýже. Бóяться кáждую минуту, что схватит пéрвый попáвшийся навстрéчу полицéйский, да еще терпеть гóлод? Нет, это нестерпíмо! Если бы я был поблýже к какому-нибудь базáру, я не стал бы церемониться. Что, в сáмом дéле! Все против меня, бéдного, беззащитного мáльчика. Что же мне еще рассуждать, что чéстно, что нечéстно! Бóду дýматъ тóлько, как бы мне сáмому прожить, а до остального и дéла нет. Я дошёл до того, что готов был таскать из чужих кармáнов, если бы тóлько умéл взяться за это дéло. Но онó всегдá казáлось мне необыкновéнно стрáшным. Воровáть фрукты с ковентгáрденских лотков было нетрудно. Всегдá мóжно бýло найти минуту, покá тор-гóвец смотрéл в другóю сторону, или убежáть так быстро, что

он не успевал догнать; но засунуть руку в карман нарядной дамы или господина — это совсём другое дело, тут нужна отчаянная смелость. Когда я жил под Арками, мне показывали многих мальчиков, занимавшихся карманным воровством, но их искусство казалось мне таким же трудным, как искусство разных фокусников и клубунов. Мне казалось даже, что кувыркаться и глотать складные ножи легче, чем воровать из карманов.

XX

Я вступаю на новый путь

Размышляя обо всем этом, я вышел из глухих, темных переулков на широкую красивую улицу, где все лавки были ярко освещены, а по тротуарам сновало множество богатых, нарядно одетых господ. Моё внимание обратило на себя большой магазин заморских товаров. За его огромными зеркальными окнами были выставлены разных рода плоды, чай, пряности и банки с пикулями и консервами. Кроме того, там же стояли китайские фигуры, фарфоровые и деревянные, каких я никогда прежде не видал. Они интересовали не одного меня — почти никто не проходил мимо лавки, не бросив на них взгляда, и некоторые даже останавливались, чтобы поближе рассмотреть их, так что вокруг окна образовалась небольшая толпа. Мне некуда было торопиться, и потому я решил переждать, пока народ разойдется и мне можно будет попристальнее разглядеть удивительные фигуры. Как раз напротив окна магазина, у края тротуара, стоял фонарный столб; я прислонился к нему и стал ждать. Среди собравшихся около магазина была старая леди¹, такая толстая, что её нельзя было не заметить. Она одна занимала больше места, чем двое обычновенных людей. Ей хотелось что-то видеть в нижней части окна, она нагнулась и вытянула шею. Не спуская глаз с толстой леди и не понимая, что она так долго рассматривает, я заметил мальчика чуть-

¹ Леди (англ.) — дама, важная барыня.

чуть побольше меня ростом. Он придвигнулся очень близко к ней и подражал всем её движениям.

Он провёл рукой по её шёлковому платью, потом быстро отдернул руку прочь, и в эту минуту свет от газового фонаря упал на его пальцы и показал мне, что он держит кошелёк, сквозь шёлковые петли которого блестит кучка серебряных монет. Затем он быстро спрятал кошелёк в карман, выбрался из толпы и, никем не замеченный, исчез в темноте. Толстая леди постояла ещё несколько секунд перед окном и пошла дальше по улице, весело улыбаясь и покачивая головой: она, видимо, думала о смешных китайцах.

Какое счастье для того мальчика! Этот чудный шёлковый кошелёк, набитый деньгами! Я продаю и башмаки и чулки за шиллинг да за кусок хлеба, а он в одну минуту добыл себе по крайней мере 12 шиллингов! Какой дерзкий вор! Какой счастливец! А что, если бы этот кошелёк достался мне? Эти мысли одна за другой промчались в голове моей, а за ними последовали другие мысли, такие страшно преступные, что я невольно огляделся во все стороны, как будто боялся, что кто-нибудь услышит их. «Как это легкое! Пока ты стоял на месте и дрожал, можно было три раза сдёлать дело! У тебя просто нехватает смелости!» «Да, положим, — отвечал я самому себе, — дело нетрудное, когда подвернётся такая толстая старуха с оттопыренным карманом в шёлковом платье. Тут вся кому нетрудно. Тут и я, пожалуй, мог бы! Но, главное, когда дождешься другого такого случая?»

И вот я стоял у фонарного столба, поджидая «случаю».

Ждать мне пришлось недолго. «Счастье», которое помогло мне при моём первом подвиге на Ковентгарденском рынке, не оставило меня и теперь. Не простоял я и пять минут, как из магазина вышла дама — правда, не толстая и не старая, но в шёлковом платье и с тяжёлым набитым кошельком. Выходя из лавки, она держала этот кошелёк в руках и, казалось, считала в нём деньги. Затем она защелкнула его и сунула в карман своего шёлкового платья.

«Вот, если бы она подошлá к окнú!» — мелькнуло у менé в головé.

И онá действительно вмешáлась в толпú, любовáвшуюся китáйцами. Я пробráлся тудá же вслед за нéю и старáлся дéлать всё так же, как тот мальчик. Я притворíлся, что внимáтельно разглядываю китáйцев, а мéжду тем рукá моí осторож-но скользíла по складкам шёлкового плáття к кармáну. Чéрез мину́ту пáльцы мой ощупали тóнкую шёлковую сеть кошелькá, и он был у менé в рукáх. Схватив свою добýчу, я пустыл-ся бежáть. Я бежáл дóлго, не останáвливаясь и не переводя дúха, покá не добежál до глухого, тёмного переулка. Там я наконéц остановíлся и решíлся посмотрéть на своё добýчу. Я вынул из кармáна кошелéк, высыпал из него дéньги и пересчитал их при свéте фонаря пóдле магазíна портнóго. Оказáлось, что у менé были 2 полукрónы, полусоверéн, 3 шíллинга и 4 пéнса — всегó 8 шíллингов и 4 пéнса¹.

Никогдá в жíзни не бывáло у менé в рукáх стóлько дé-нег — дáже в полови́ну, дáже в чéтверть стóлько.

Я решíтельно не знал, что́ мне дéлать, то-есть не знал, что́ мне купить себе поéсть и где купить.

Наконéц я дошёл до съестной и поúжинал за четы́ре пéнса.

Весь вéчер я йли ел, йли придумывал, что бы поéсть. Раз пять заходíл я к кухмíстеру и съеда́л по двухпéнсовой сосíске, потом съел кусóк хлéба с пátокой, а в конце концóв купил себé на пéнни шоколáду.



¹ Около десяти рублéй золотом.

В заключение, когда́, собира́ясь на ночлéг, я стал считáть свой капитál, оказалось, что я истра́тил не особенно много; я купíл себé пárу крéпких сапóг, и у менé всé ещé остáлось 3 шíллинга и 6 пéнсов, не считáя полусоверéна, который я за-сунул за подклáдку кúртки, заколóв её булáвкой.

И вот я стал настóящим вóром. Впрóчем, сначáла я твёрдо решíлся не повторять бóльше моегó сегодняшнего преступлéния. Конечно, сдёланного не вернúть, но никто, кроме менé, не знал э́того и никогда не узнаёт. Я с утrá стáну приду́мывать, за что мне приняться. Когда́ у человéка лежít в кармáне 13 шíллингов и 6 пéнсов, он мóжет найтí тýсячи средств про-жít чéстно.

Да, конéчно, мóжно было найтí тýсячу средств прожít чéстно, но, к сожалéнию, я дóлжен сознаться, что не нашéл ни одногó.

Пóсле обéда я пошёл прогулáться по Пéтикот-Лéйну и там остановíлся пóдле одногó магазíна. В окнé был вы́вешен жéлтый шéлковый платóк, разрисóванный сýними птичýми глазáми. Тóчно такóй платóк носíл на шéе отéц. Я вошёл в магазíн и купíл платóк за 3 шíллинга и 6 пéнсов. Рассúдок говорил мне, что я дéлаю глúпость, но я утéшил себя мýслью, что купíл платóк в пámять об отцé. Это вы́звало во мне мысль о дóме, мне стáло грустно, и я выпил кружку пíва, чтобы раз-веселиться. Не знаю... должно быть, пíво э́то бы́ло óчень крéп-ко или онó с непривычки так сильнó подéйствовало на менé, но я вдруг пришёл в такóе возбуждённое состоя́ние, что с тру-дом мог себé сдéрживать. Я совершénно перестáл бóяться своих врагóв и готов был встрéтиться лицóм к лицу́ дáже с мýстером Бéльчером — конéчно, если с ним не бúдет дву-ствольного ружья. В э́ту мину́ту я проходíл мýмо мáленького оружéйного магазíна, и мне пришло в голову, что человéк, ко-торого весь свет преследует, как менé, непремéнно дóлжен ходить вооружённый. Я вошёл в магазíн и купíл страшный с вíду старый пистолéт за 2 шíллинга и 3 пéнса. Вéчером я на-шёл, что ужásно неудóбно таскáть э́то ору́жение в кармáне шта-нов, и потому прóдал егó в ту же лáвку за 1 шíллинг и 4 пéнса.

Таким образом, мой доброго добытые 18 шиллингов и 4 пенса все разошлись по мелочам. Я продаал красивый шёлковый платок с птичьими глазами за 18 пенсов — и через три дня стоял среди улицы таким же бедняком, каким был в ту минуту, когда наблюдал за толстой леди, прислонясь к фонарному столбу против богатого фруктового магазина. И вот...

Впрочем, легко догадаться, как пошла моя жизнь. Труден только первый шаг; сделав его, я уже не останавливался. Я старался убедить себя, что я несчастный, всеми покинутый ребёнок, что все меня преследуют и ненавидят, что я поневоле должен поступать нечестно, чтобы не умереть с голоду. При втором воровстве я уже жалел, что в кошельке нашлось всего только 4 шиллинга, а при третьем и сам не помню, что чувствовал, так как за ним скоро последовало четвёртое, пятое и так далее.

Впрочем, я недолго вёл жизнь карманного вора — никак не больше двух месяцев. Сколько денег удалось мне украсть в это время, не помню; знаю только, что я разбогател до того, что мог взамен старой одежды, данной мне йельфордской полицией, купить себе очень порядочное платье. Я не ночевал больше в съестной лавочке, а поселился в улице Уентфорта.

XXI

Я знакомлюсь с Джорджем Гапкинсом

В один ийольский вечер я прохаживался по Чайпайду. Так как у меня теперь был приличный костюм, я смело появлялся на больших и богатых улицах. Поглядывая по сторонам с беззаботным видом мальчика, вышедшего погулять, я заметил джентльмена, внимательно разглядывавшего что-то в чулочном магазине.

Это был один из тех джентльменов, от которых карманным ворам хорошая пожива. Он был так толст, что, когда наклонился, фалды его юртука сильно оттопырились и карман выставил самым соблазнительным образом. Нельзя было

упустить такой удобный случай. Я ощупал карман; в нем лежало что-то твердое, четырехугольное. Я запустил в него руку и через секунду вытащил красивый кожаный бумажник. До сих пор мне удавалось таскать кошельки, деньги, просто положенные в карман деньги, завернутые в бумагу, но ни разу не попадался мне под руку бумажник. Дрожа от восторга, я быстро свернулся в соседнюю улицу, осторожно открыл бумажник при свете фонаря и увидел в нем несколько сложенных банковых билетов¹ и целую кучу золотых монет. Это так поразило меня, что я стоял секунд пять неподвижно, закрывая бумажник полой своей куртки и не зная, на что решиться. Вдруг чья-то рука легла на моё плечо.

— Не вздумай бежать, — произнес голос человека, явившегося как будто из-под земли. — От меня не убежишь.

Я готов был поклясться, что никто не следовал за мной от Чипсайд. Появление этого незнакомца как гром поразило меня. Я быстро бросил бумажник в водосточную трубу и повернулся, вполне уверенный, что меня задержали или полицейский, или обокраденный мною джентльмен. Но я ошибся: меня держал за ворот незнакомый мне господин, одетый очень нарядно, с блестящим перстнем на пальце. Он поднял брошенный мной бумажник и спокойно положил его к себе в карман, точно свою собственность.

— Правду говорят, что дуракам счастье, — замечил он, продолжая держать меня за ворот и увлекая за собой в темную улицу.

— Послушайте, сударь, — заговорил я жалобным голосом, не помня себя от страха. — Ведь я нашел его... право, нашел; только он мне не нужен, возьмите его, если хотите; может, вы его потеряли...

— Нашел! Конечно, нашел! — насмешливо проговорил незнакомец. — Неужели же заработал! А ты для кого работаешь? — спросил он вдруг резким голосом, когда мы уже прошли пол-улицы.

¹ Банковых билетов (банковый билет) — здесь: бумажных денег.

«Он, должно быть, принимает меня за какого-нибудь честного мастеровога», — мелькнуло у меня в голове.

— Я работаю, — проговорил я прерывающимся голосом, — у одного коробочника близ Уайтчепеля.

— Что ты врешь! — вдруг сердитым голосом закричал незнакомец. — Говори сейчас правду! Ты живёшь у Симмондса или у Тома Мартинса?

— Не знаю я никакого Симмондса и Мартинса! — вскричал я, несколько оправившись от испуга. — Пустите меня! Берите себе бумагник, только меня оставьте в покое!

— Я тебе сверну шею, если ты не станешь отвечать! — грохнул голосом сказал незнакомец. — Говори сейчас: для кого ты работаешь?

— Да ни для кого, сам для себя!

Незнакомец выпустил из рук воротник моей куртки и несколько секунд смотрел мне прямо в глаза.

— Послушай, мальчик, — сказал он, наклонясь ко мне и говоря почти шёпотом: — не думай, что меня можно обмануть. Говори правду. Если у тебя есть хозяин, это не беда; если нет, скажи, и я, может быть, окажу тебе услугу.

— А вы не полицейский, не сыщик? — спросил я.

— Я — полицейский! — вскричал незнакомец и громко расхохотался. — Ах ты, простота! И с таким умом берётся за воровство! Ты давно занималась этим делом?

— Два месяца.

— И ни разу не попадался?

— Ни разу.

— Удивительное счастье! Такой простофиля должен бы



срáзу попáться. Нáдо взять тебá в рúки. Пойдём-ка со мной.

По тóну егó гóлоса вíдно бы́ло, что он намéрен забráть ме-
нá в рúки. Мне это бóвсе не представлялось прийтным. Я боял-
ся егó не мéньше, чем полицéйского.

— Благодарю вас, сэр, — сказал я. — Я не хочу, чтобы
меня бráли в рúки.

— Не хочешь! — свирéпо воскликнул он. — Кому есть дéло
до того, что ты хочешь или чего не хочешь! У тебя до сих пор
нé было хозяина, а тепéрь бúдет! Иди за мной. Когда мы при-
дём домóй, я с тобóй поговорю.

Он вышел на юлицу Пóултри, потóм завернúл в оди́н пере-
улок, затéм в другóй, в трéтий, покá не дошёл до юлицы Кэт.
Он не держáл меня, а между тем я слéдовал за ним, и мне дá-
же не приходило в гóлову бежать — такóй страх внушáл он
мне своим решительным и грóзным обращéнием.

Когда мы дошли до половины юлицы Кэт, он постучáл в
дверь одногó дóма, и нам отворила нарядно одéтая молодáя
жéнщина.

— Я не ждалá тебеá так ráно, Джордж, — сказалa онá,
лásково целуя незнакóмца.

— Я привёл к нам нового жильцá, Сьюки, — отвечáл он, ука-
зывая ей на меня.

Это, повидимому, ей бы́ло неприятно.

— Неужéли тебеé еще не надоéли жильцы? — недовольным
голосом проговорила онá. — Навéрно, и этот проживёт у нас не
дóльше тóго!

— Конéчно, если он вздúмает выкинуть со мной каку́ю-
нибудь штúку! А что, чай готов?

— Готов. Иди.

Мы вошли в óчень хорошо меблированную кóмнату; на
столе óколо камíна¹ стоял чáйный прибóр. Джордж бróсился
на дивáн и лежáл на нём мólча, заложив рúки под гóлову.
Молодáя жéнщина принесла чáйник с чáем и блóдо яйчицы

¹ Камíна (камíн) — кóмнатной пéчи с ширóкой открытой тóпкой.

с ветчиной. На меня она смотрела попрежнему недружелюбно.

— Не суйтесь под ноги, если не хотите, чтобы вас обварили! — сердито замечала она, проходя мимо меня с чайником.

— Ты будешь пить чай? — спросил у неё Джордж.

— Нет, я уже пила.

— Ну, так убирайся к черту! — грубым голосом сказал он. Она вышла из комнаты, сердито хлопнув дверью.

— А ты, — обратился Джордж ко мне, — хочешь чай?

— Нет, благодарю вас, сэр.

— Ну, все равно, я буду пить и говорить, а ты сиди и слушай. Откуда ты?

Этот вопрос был для меня совсем неожидан. Как сказать ему, откуда я? Из Клеркенуэла, из Кемберауэла или с Уентфордской улицы? Джордж заметил моё смущение.

— Коли тебе не хочется, так не говори, — сказал он. — Мне все равно. Мне надоально только знать, есть ли у тебя настоящий дом. Есть ли у тебя отец и мать?

— Я убежал из дома, я туда не вернусь.

— Отчего?

— Оттого, что меня там до смерти избьют.

— А, вот что! Ну, это отлично, тебе и не нужно идти туда. Ты будешь жить здесь.

— Здесь?

— Да, я беру тебя в ученье. Я дам тебе стол и квартиру, а ты должен работать на меня.

— Что же я буду делать?

— Да то же, что делал уже два месяца и на чём я поймал тебя сегодня. Не скажу, чтобы ты был искушен, но ты мне понравился, и можешь быть полезен, если тебе немножко поучить. До сих пор тебе везло, но на одно счастье нельзя рассчитывать, надоально стараться приобрести и искусство! Ты меня, конечно, не знаешь, но спроси у любого полицейского: кто такой Джордж Гапкинс? И каждый скажет тебе: «А! Это известный воспитатель воров, как его не знать!» Вот я и хочу взяться за твоё воспитание.

— Благодарю вас, сэр, — проговорил я, чувствуя, что должен чтó-нибудь отвéтить. — Вы очень добры, если хотите помочь мне.

— Помочь тебе? Я хочу сде́лать тебе счастливым! Сотни уличных мальчиков позавидовали бы тебе. Если ты останешься у меня, чéрез ме́сяц тебе стыдно будéт вспомнить о том, как ты неловко устроил сего́дня эту штуку! — Он указал рукой на свой кармáн, в котором все еще лежал украденный мной бу́мажник. — Как тебе зовут?

— Джим Смит... — Я боялся называть свое настóящее имя и хотéл сказать то, какое мне дали Мобулди и Райптон, но запнулся на первом слóге.

— Джим Смит? — подхватил мой новый хозяин. — Прекрасно! Ну, скажи-ка по прáвде, Джим: несмотря на твоё счастье, ведь тебе не всегда везло? Один день бывало гúсто, другой пусто? Не всегда в кармáне звенели полукроны, а?

— Да и шíллинги-то не всегда, — отвечал я. — Где тут! Иногда перепадает много, а иногда и ничего.

— Ну, это известное дело. Слушай же, что я хочу для тебе сде́лать. Я буду учить тебе нашему искусству, буду кормить тебя вволю, одевать, как богатого франта, давать тебе денег на твой удовольствия. Хорошо это?

— Ещё бы, да же очень хорошо, — отвечал я, чувствуя, как моё отвращение к мистеру Гапкинсу исчезает. — А что же я должен делать за все это?

— Ты должен приносить мне все, что тебе удастся добыть.

— Что ж, на это я согласен, — сказал я, едва скрывая своё удовольствие и боясь одного: как бы он не передумал.

— Отлично! Это одна сторона дела, а вот другая: ты слышал, что говорила про тебе миссис Гапкинс, когда мы входили?

— Что я проживу не дольше прежнего жильца?

— Да. Видишь ли, этот прежний жилец был постарше тебя годами двумя, удивительно ловкий мальчик! Он прожил у меня всегó девять недель. Теперь он засажен в тюрьму на три ме́сяца. Как тебе кажется, хорошо ему там?

— Что же хорóшего сидéть в тюрьмé? А за что он тудá попáл?

— А за то, что он был обмáнщик и хотéл надýуть менá! У менá не уживáются те мáльчики, которые вздúмают менá надувáть. К тем, кто ведёт себá чéстно со мной, я добрéе отцá роднóго. Случíсь с такím мáльчиком какáя бедá, яничегó не пожалéю, вы́ручу его. Затó уж éсли кто вздúмает обмáнывать менá, для тогó я злéйший враг. Не попадёт он в тюрьмú сам по себé — я постараюсь упрáтать его. Понимáешь?

— Ещё бы. Это всé очень понятно.

— Ну, и прекрасно. Тепéрь нам покá нé о чём бóльше говорить. Если хóчешь, мóжешь идти гулять или сходить в теáтр. Есть у тебá дéньги?

— У менá есть четыре пéнса, сэр.

— У менá тákже есть кое-какáя мéлочь. Вот тебе три шíллинга и шесть пéнсов. Мы не бóудем слíшком роскошни-чать, покá не увíдим, как пойдут у нас дела. Прощáй. Приходí не пóзже одýннадцати.

XXII

Я встречаю старого товарища

Мýстер Гáпкинс зáпер за мной дверь дóма и предоставил мне идти, кудá я хочу. Никогдá в жíзни не чuvствовал я себá в такóм стрáнном положéнии.

Что за человéк был éтот Гáпкинс? Он, конéчно, не шутýл, иначé он не показáл бы мне своéй квартиры, не дал бы мне дéнег, не стал бы откровéнничать со мной. Он бóудет кормить, одевáть менá, давáть мне дéньги на удовóльствия, и всé за что? За то, чтобы я продолжáл занимáться тем, чем занимáюсь ужé два мéсяца, и горáздо спокóйнее: в слúчае неудáчи он обещáл вы́ручить менá. Усло́вия, конéчно, со всех сторóн вы́годные для менá. Я бóуду жить у негó, покá мне бóудет хорошó, а чуть замéчу, что он отnósится ко мне дúрно, я бróшу его и убегу. Что за удивительный дурáк éтот мýстер Гáпкинс! Я чуть громко не

расхохотался на улице, думая о глупой нерасчетливости моего нового хозяина.

Однако куда же мне идти? Он сказал: в театр. Отлично, пойду в Шордичский театр, где я так часто бывал с моими мильными товарищами, и возьму себе место в ложе. Мне теперь скучаться нечего! Я купил пару сосисок, пять апельсинов, выпил кружку пива и направился к театру.

У входа уже толпился народ. Я узнал, что в этот день шла новая пьеса, был бенефис¹ любимого актера, и оттого собралось так много зрителей. Я попал в самую середину толпы, меня тискали и толкали со всех сторон. Один мальчик работал локтями так усердно, что совсем придавил мой карман с сосисками. Я слегка толкнул его и попросил не давить мой сосиски.

— Важная штука твой сосиски! — отвечал он. — Чего ты не ел их дома?

Он стоял впереди меня и, говоря эти слова, не повернулся ко мне головы, но я тотчас узнал его по голосу.

— Рипстон, неужели это ты? — вскричал я.

— Смитфилд! Вот так встречай! — закричал мой старый товарищ.

Не обращая внимания на неудобство соседей, он повернулся ко мне и протянул мне руку. Это движение оттеснило нас от дверей театра. Нас тискали и затолкали так, что мы постарались скорей выбраться из толпы.

При свете большой лампы, висевшей у подъезда, мы смотрели друг на друга.

— Вот чудесная встреча! — вскричал Рипстон. От восторга он чуть не задушил меня в своих объятиях: — Я-то думал, что ты уж давным-давно умер, а вместо того ты вырос на полголовы, да каким франтом стал! Тебе, должно быть, сильно повезло с тех пор, как мы вместе жили под Арками, а?

Я далек не был франтом, но одежда моих был прилична. Конечно, она могла показаться роскошной в сравнении с той, которую я носил, когда заболел горячкой. Но Рипстона, уж

¹ Бенефис (франц.) — спектакль или концерт.

разумеется, никто не называл бы франтом. Его куртка и штаны были из одинаковой материи и страшно перепачканы. Лицо его также далеко не отличалось чистотой. Но особенно удивляли меня его руки. Они были грязны, как всегда, и, кроме того, покрыты мозолями, каких я никогда прежде не видал на них. Когдá эти мозолистые руки обвились вокруг воротника моей щеголеватой чёрной курточки, я почувствовал какое-то странное волнение.

— Чего же ты, Смиф? — спросил Рипстон, замечая моё смущение. — Разве ты не рад, что встретился со мной? А, понимаю! — вскричал он, пристально поглядев на меня несколько секунд. — Ты, верно, сделался честным, Смиф, и не хочешь знать со мной? Ты не знаешь — ведь и я также переменился, Смиф.

Это объяснение не только не успокоило меня, а, напротив, заставило пожалеть, что я встретил старого товарища.

— Тогда, как же это переменился? В чём переменился, Рипстон? — спросил я.

— Да, знаешь, бросил я все эти глупости. Что за жизнь — вечно прятаться по углам, бояться всякого сторожа, всякой торговки! Я тут встретился с одним мальчиком фабричным. Он меня уговорил, да и помог поступить на фабрику Беккера в Спитал菲尔де. Нелегко, конечно, а всё-таки хоть прятаться не надо. Получаю восемнадцать пенсов в неделю. А живу в рабочей казарме. Главное — товарищи хорошие.

— А что Мouldи? — спросил я с тайной надеждой, что, может быть, хоть Мouldи сделался настоящим мешенником.

— Мouldи умер, — коротко отвечал Рипстон.

— Умер?

— Да, он умер зимой... Пойдём скорее в театр, а то мы не найдём места в галерее¹.

Я объявил, что иду в ложу, и уговорил Рипстона пойти со мной, сказав, что могу заплатить за его место, так как у меня

¹ В галерее (галерея) — в верхнем ярусе (этаже) театра с дешевыми местами.

в кармáне бóльше шíллинга. Мне стыдно бы́ло признáться, что у менé бы́ло дáже óколо трёх шíллингов.

— Ишь ты, какóй богáч! — замéтил Рýпстон. — У тебя мéсто, должно быть, полúчше моего. Ты, вéрно, слúжишь в какóм-нибудь магазíне мануфактурных това́ров?

— Так и есть, ты угадáл, — отвечáл я, ráдуясь тому́, что он придúмал мне занятие.

— И ты, должно быть, дóлго копíл дéнежки, а сего́дня вздúмал зада́ть себé пир? — спросíл Рýпстон.

— Ты всегда лóвко угáдывал, — сказал я, избегая прямóго отвéта. — Одна́ко пойдём, а то и в лóжах не бýдет мéста.

Мы усéлись очень удобно в лóже, где, кроме нас, бы́ло всегó три человéка. Я угостíл Рýпстона сосíсками и апельси́нами и, покá он ел, спросíл у него́: что же стáлось с Мóулди?

— Да с ним случíлось несча́стье: он свалился с крыши тогó сара́я, что был на берегу реки, пóмнишь?

— Пóмню, как же!

— Ну вот, ты пóмнишь и то, — продолжáл Рýпстон, наклоняясь ко мне и говоря́ почти шóпотом, — что на́ши делá шли очень пло́хо, когдá ты заболéл горáчкой. Пóсле тебя они́ пошли́ еще хóже. Тот фургóн, в котóром мы ночевáли с тобóй, перестáл приезжáть под Арки, а в другиe телéги нас не пуска́ли. Все боя́лись, что мы от тебя заразíлись горáчкой. Нам пришлось спать на гóльых грáзных камнях. На у́лице нам тákже не везлó. Разно́счики и торгóвцы гоня́ли нас, полицéйские следíли за на́ми, рабóты никакóй не было, а стащить что-нибудь... знаешь, по-стáрому... и не дýмай. А тут еще завернóла непогóда, да та-ка́я, что прóсто бедá! Уж не знаю, как мы прóжили два мéсяца до рождествá. К прáзднику всéкий, извéстно, ждёт себé чего-нибудь полúчше, а нам и ждáть-то нечего бы́ло. Мóулди совсéм приунýл. Отморозил себé рóки и ноги, сидít да стóнет, прóсто всю дýшу вытянул. А у нас, под Арками, рождество спрavляют вéсело. Всéкий даёт скóлько-нибудь дéнег, устрáивают склáдчину, разводят огóнь, пьют чтó-нибудь горáченъкое, кýрят и пои́от пéсни. Прошéдший год мы тóже давáли дéнег в склáдчину, а нýнченичéгó не моглí дать. Вот мы и сидéли себé голóдные да



холóдные, в тёмном уголкú, покá другиे там угощáлись да пирова́ли. А Мóулди совсéм пришёл в отчáяние. Он ведь всегдá любíл пое́сть, а тут слýшил зáпах жáреного мя́са, а у самогó с утrá крошки во рту нé было. Он говорит: «Постóй же, Рип, бўдёт и на нашей ýлице прáздник! Полно мúчиться, не хочу бóльше. Кóли сча́стье не даётся в ру́ки, я сам егó возьмý!» Я по-думал, он э́то так, со злóсти говорит. Мне и в голову не пришло, что он задумал что-нибу́дь серье́зное. Я лёг спать и расспраши-вать егó не стал. Тóлько на другоé у́тро просыпаюсь, смотрю — Мóулди уж нет. Я удиви́лся: он никогдá не уходи́л, не сказáв мне. Я стал расспрашивать у всех знакóмых. Никтó егó не ви́дел. Я пошёл на базáр, — и там нет Мóулди! Верну́лся домой часо́в в дéсять. Тóлько спуска́юсь по ступéнькам, а мне оди́н мáльчик и говорит: «Ну что, ви́дел егó? Каково ему́?» У менá так сéрдце и зáмерло. «Про когó ты э́то так говори́шь?» — спра-шиваю. «Да про твоегó, — говорит, — товáрища, про Мóулди. Ведь он в больни́це, рáзве ты не знал? Он полéз за свинцóм на крышу сарáя, что на берегу́, стал спускáться по трубé, да и сва-лился. Он перелома́л себé ноги и рёбра. Едвá ли доживёт до зáвтра...»

Рíпстон так увлёкся своим рассkáзом, что не замéтил, как поднялся зáнавес и началось представле́ние. Впрóchem, пéрвым нóмером прогráммы был балéт, до котóрого мой приятель был не охóтник. Он отёр слёзы и продолжáл свой рассkáз:

— Я, конéчно, сейчás же пошёл в больни́цу, сказáл привратнику, что я брат Мóулди; тот менá впустíл и велéл мне спро-сить палáту сестры Мéлии. Я спроси́л. Ко мне вы́шла сестра Мéлия. «Вы, — говорит, — не Рíпстон ли? Мóулди все вас звал. Ему́, беднáжке, уж недолго остаётся жить на свéте». Онá при-велá менá в кóмнату, где он лежáл. Смотрю, егó обмыли, одéли в чистое плáтье. Он лежít такóй блéдный-блéдный, а глазá у него́ стáли такие больши́е, голубые. Я никогдá прéждé не заме-чáл, что у Мóулди голубые глазá. А он как завíдел менá, про-тянúл мне ру́ку. «Как я рад, — говорит, — Рип, что ты пришёл! Я думал: так и умрú, а тебе́ не уви́жу!» А я и сказáть ему́ ниче-го не могу́, Смиф, засéло у менá что-то в горле, слова не даёт ви-.

говорить. А Мóулди всё дéржит менá зá руку. Вдруг он крéпко сжал моё руку, посмотрéл на менá, кивнúл мне головой и ýмер...

Слёзы прервáли речь Рýпстона. Я в вýде утешéния сýнул ему в руку большóй апельсиý; он нéсколько секунд с ожесточением сосáл его и затéм продолжáл:

— Когдá Мóулди ýмер, его смерть так огорчíла менá, что я сдёлся другим человéком. Я решíл, что непремéнно перемению свою жизнь; не знал тóлько, как мне это сдёлать, за что прияться. А тут, как нарóчно, смотрó, на сосéдней кóйке тóже мальчишкa сидít. В халáте. Да тóлько, вýдно, ужé поправляется — весёлый такóй. «Ты что, — говорít, — брат, голову повéсил? Ничегó не подéлаешь, все там бýдем». Сначáла мне бýдто обýдно показáлось. А потóмничегó, вýжу, это он не со зла. Ну, разговорýлись мы. Он мне и рассказáл, что слúжит на фáбrique, ему там тáчкой ногу придавíло; ну, даничегó, на этот раз дёшево отdéлся, зáжило. Понráвился он мне. Сдружýлись мы. И так мне не захотéлось одному под Арки возвращаться! Я ему всё рассказал. Он мне и говорит: «Не миновáть тебе тюрьмы. Поступáй-ка лúчше к нам. Я тебя устрóю». Ну, и прáвда, устрóил. Вот и вся моя истóрия. Кák-нибудь заходí к нам, посмотришь, как мы живём. Неказýсто, конечно. А тóлько ребята хорошие... А тепéрь ты про себя расскажай. Тебé, вýдно, больше моего повезло? Я и забыл тепéрь, как прéжде воришкой был. А ты?

У менá не хватíло дóху отвечáть на его вопрос, и я тóлько кивнúл ему головой в вýде согласия.

— Тебé это, должно быть, было легкó, — сказал он, — тебе мénьше пришлóсь меняться, чем Мóулди и мне: ты ведь еще не привык воровáть. Пóмню я, как нам с Мóулди бывáло смешно глядеть на тебя, когдá ты принимáешься за воровство. Ты никогда не был настоящим вором, Смиф, у тебя и смéлости не хватáло. Я дóумаю, если бы не мы с Мóулди, ты никогда не стал бы воровать.

— Мóжет быть, — проговорýл я.

— Тебé, я дóумаю, тепéрь приятно вспóмнить, что ты не был таким воришкой, как мы с Мóулди.

— Да, конечно, приятно... Смотри, Рип, какой славный танец!

— Да, отличный танец! А я всё думаю, Смиф, как это хорошо, что мы встретились, когда оба переменились. Нам было бы совсем не так весело, если бы переменился только один из нас! Что, если бы я жил по-старому, а ты уже сделался бы честным? Ты, пожалуй, не захотел бы говорить со мной? А если бы ты заговорил, как бы я тебе отвечал? Я думаю, я скрыл бы от тебя, что я всё ещё воришко. Или я сказал бы тебе правду и стал бы насмехаться над тобой, что ты такой франт, такой ваяжный.

Никогда в жизни не видал я Рипстона таким разговорчивым и откровенным. Каждое слово его было мне ножом в сердце. Последнее время совесть моё замолкла, но теперь Рипстон опять расшевелил её. Мое знакомство с ним и Моулди было совсем особенного рода, он легко всякого другого могло превратиться в дружбу. Известие о смерти Моулди самое по себе взволновало меня. Но главное, мой старый друг Рип, Рип, которого я любил гораздо больше Моулди, сделался честным, стал говорить как честный мальчик. Не понимая, что делает, он растряпал мою рану, и я чувствовал такой стыд, такое раскаяние, что готов был провалиться сквозь землю. В то же время я боялся, что Рипстон заметит мое смущение, и это еще больше увеличивало мой мучения. Страх мой оказался не напрасным. Представив, как бы мы встретились, если бы он остался воришкой, а я сделался честным мальчиком, мой старый товарищ развеселился. Толкя меня под бок, он с хохотом спрашивал: неужели мне не смешно? Мне нисколько не было смешно. Я не мог заставить себя не только засмеяться, но даже улыбнуться. Я смотрел прямо перед собой, сдвинув брови и стиснув зубы. Рипстон вдруг перестал смеяться.

— Что с тобой, Смиф? — спросил он, взяв меня за руку. — У тебя что-то неладно? Ты ведь служишь в магазине, это правда?

В эту минуту поднялся занавес, и началось представление новой пьесы, так что я мог оставить вопрос Рипа без ответа.

Чтобы скрыть своё смущение, я принялся хлопать в ладоши и кричать «брáво» вместе с остальной публикой. Пьеса была необыкновенно интересна и трогательна. В ней изображалась вся жизнь одного очень несчастного человечка. В первом действии он был ещё крошечным ребёнком, и мать носила его на руках; отец его, злой, гадкий пьяница, требует денег у своей жены и колотит её, когда она говорит, что у неё денег нет.

— Этак, Смиф, и у вас в доме бывало, — обратился ко мне Рипстон после первого действия. — Помнишь, ты рассказывал, как отец твой колотил твою мать?

— Помню, — отвечал я, и мне живо вспомнилась моя бедная мать.

— А хорошо иметь мать, Смиф! — продолжал Рипстон. — Ты, я думаю, очень жалеешь теперь, когда ты переменился, что у тебя нет настоящей матери? Мне так было хорошо, когда я вернулся к своей старухе. Она меня обняла, да так крепко, что я думал — она меня задушит. И сама чуть не умерла от радости. Ах, что я тогда чувствовал, Смиф!

У меня навернулись слёзы, мне хотелось во всём признаться Рипу. Только стыд удерживал меня. В эту минуту я от всей души презирал Гапкинса и не чувствовал ни малейшего желания вернуться к нему.

В втором действии Френк — так звали ребёнка — стал уже взрослым мальчиком. Мать его умирает, ему не на что похоронить её, и он ворует, чтобы купить для неё гроб. За это его арестовывают и ведут в тюрьму.

В третьем действии он уже выпущен из тюрьмы, пирюет с ворами и разбойниками. Им некем заплатить за выпитое пиво, и он опять ворует. Его сажают в тюрьму и набивают на ноги железные кандалы.

В четвёртом действии он работает на каторге вместе с другими ссыльными.

В пятом действии он отбыл срок и ищет работы, чтобы жить честным трудом. Но ничего не находит. Он встречает одного своего знакомого каторжника, который подговаривает его на какое-то дурное дело.

В шестом дѣйствии он вмѣсте с каторжниками забирается в контору, убиваёт сторожа и похищает все дёньги. Полиция застѣгла их на мѣсте. Каторжник бежит, а Френка сноуба сажают в тюрьму.

В седьмом дѣйствии Френк сидит в тюрьме, закованый в цепи. Он раскаивается в своих дурных поступках и страшно мучится. Вдруг он відит во сне свою мать; она утешает и ободряет его; он плачет и идет на казнь спокойно, без всякого отчаяния. В это время разворачивается бумага, на которой крупными буквами написано: «Любовь матери бесконечна».

XXIII

Моё намерение перемениться быстро исчезает

Пьеса вызвала громкие рукоплескания зрителей. Меня она тронула до того, что я не решался взглянуть на Рипстона, чтобы он не видал моих слез.

— Какая славная пьеса! Не правда ли, Смиф? — сказал он, пока мы проталкивались сквозь толпу при выходе из театра. — В ней так хорошо показано, что человек вовсе не делается негодяем сразу, в один прекрасный день; нет, жизнь делает его негодяем постепенно, день за днем, мало-помалу... «Любовь матери бесконечна». Это, я думаю, значит, что мать всегда прощает. Надо только подумать о ней, и сразу легче станет, и сам лучше сделаешься.

— Да, я думаю.

— О мачехах там ничего не сказано, Смиф. Я думаю, ты не успокоился бы, если бы увидел во сне свою мачеху.

Я постарался засмеяться в ответ на его слова, но в душѣ мне было вовсе не до смеха.

— Что с тобой? О чём ты плачешь, Смиф? — вскричал вдруг Рип.

В эту минуту мы вышли на улицу.

— Полнота, перестань, — утешал меня товарищ. — Тебе не нужно ходить смотреть чувствительные пьесы, если ты такой слабый. Что, у тебя нет платка? Найди, возьми мой.

И он пôдал мне какûю-то грýзную
тряпку.

— Ах, Рип!

— Ну, перестáнь же! Ты, вéрно, нездорóв! Успокóйся! Смотри, ужé дéсять часóв, нам порá по домáм! Мне придётся идти далекó. А ты где живёшь? К котóрому чáсу тебе нáдобно вернúться? Где лáвка твоего хозяина?

Послéдний вопрос он сдéлал тре-
вóжным гóлосом, как бúдто у него
опять мелькнуло подозрéние.

— Я не живú в лáвке, — прогово-
рил я прерывáющимся гóлосом,
наклоняясь ближе к его ýху: — у
меня нет хозяина.

— Нет хозяина? Так чем же ты живёшь? Где рабóтаешь?

— Нигдé. Нельзя же называть нáше прéжнее дéло ра-
бóтой.

— Нáше прéжнее дéло! — с удивлéнием вскричáл Рип. — Неужéли ты в сáмом дéле не переменился, Смиф? Нет, этого не мóжет быть!

— Да, я переменился, — рыдáя, отвечáл я. — Тóлько я стал ещё хúже — вот как в пьéсе.

Рýпстон постоýл с минýту задумавшись, глядя на меня с недоумéнием. Потóм он тряхнúл головóй. Он всегдá так дéлал, когда решáлся на чþо-нибудь.

— Ты о б э т о м плáчешь, Смиф? — спросíл он.

— Да, об э том.

— Знáчит, ты хóчешь переменитьсья?

— Ещё бы, óчень хочú! Я рад бы сейчáс сдéлаться чéстным,
да только не знаю как. Вот бы ты помóг мне!

— Как же я могу тебе помóчь?

— Не знаю... Да вот, если бы тудá же поступить,
где ты...



— Я уж об э́том ду́мал! — с жа́ром вскричál Ри́пстон. — Попрóбую, поговорю с ма́стером. Пойдём скорéй, а то у нас воро́та закро́ют.

Я твёрдо решíлся послéдоватъ совéту Ри́пстона, и мы бы́стрыми шагáми пошлí по ўлице. Но едвá сде́лали мы не́сколько шагóв, как перед на́ми появíлся Джордж Гáпкинс. Он стоя́л, прислоня́сь к фонарио. Когдá я проходíл мýмо, он положíл ру́ку на моё плечо, повидимому, с полным доброду́шием. Но я по-чу́вствовал, что он кре́пко дéржит менá.

— Ах, вот ты где! — произнёс он гóлосом лáскового упрéка. — Экий ты нехоро́ший, непослúшный ма́льчик. Как тебе не сты́дно ходить в такие дурные места, когдá ты зна́ешь, что твой добрая тéтенька терпéть э́того не мóжет! Неужéли ты никогда не отстáнешь от дурных знакомств? А ты, ма́льчишка... — обра́тился он к Ри́пстону, — если ты ещé раз вздúмаешь совра́щать его с путí, я сведу́ тебя в поли́цию. Убирайся прочь!

Я был так поражён неожи́данным появлéнием Гáпкинса, что не мог вы́говорить ни слóва. Ри́пстон, очевíдно, удивлённый его щегольским нарядом и повелительным тóном, смотрéл то на менá, то на него, широкó открыв глазá от удивлéния.

— Ну, если ты не хóчешь идти со мной, Смиф, — прогово́рил он наконéц, — так прощáй.

— Прощáй, Рип! Мы, мóжет быть, скóро уви́димся.

Он пошёл дáльше, и я ви́дел, что он не́сколько раз оборáчивался и смотрéл на менá всё с тем же удивлéнием.

— С какíм э́то негодя́ем я тебе́ встрéтил? — спросíл Джордж, не снимá руки с моего плечá и увлекáя менá в сто-руну ўлицы Кэт.

— Он не негодя́й, он чéстный ма́льчик, — отвечáл я.

— А если он чéстный ма́льчик, так чего же он свáзывается с такими вори́шками, как ты? — насмéшливо замéтил мýстер Гáпкинс. — И тебе́ что за на́добность знать́ся с чéстными ма́льчиками? Ты долЖен помнить своё дéло и не забыва́ть, что рабо́таешь на менá.

Я был так смущён, что не нашёлся, как отве́тить ему. Он снял ру́ку с моего плечá, я мог убежáть от него и догнáть Ри́п-

стона. Эта мысль мелькнула у меня в голове. Но я не имел сил привести её в исполнение. Джордж Гапкинс наводил на меня необъяснимый страх, я не смел ни на шаг отставать от него.

— О чём же это ты разговаривал с честным мальчиком, когда я вас встретил? — спросил он.

— О прежней жизни, — отвечал я.

— О прежней жизни? Когда ты был честным мальчиком?

— Нет, когда он был нечестным.

— А, так он не всегда был честным, Джим? Что же он делал?

Я чувствовал, что поступаю дурно, выдавая своего старого приятеля, но я не смел противиться своему хозяину.

— Мы с ним вместе занимались воровством на рынке в Ковентгэардене, — отвечал я, — и жили вместе под Арками.

— Вот что! А теперь где же он живёт? Что он делает?

— Он работает.

— Работает? Возится с какой-нибудь грязной тяжёлой работой, бедный мальчуган! И много он зарабатывает?

— Восемнадцать пенсов в неделю.

— И за это он должен трудиться целые дни, как лошадь, и ходить в грязи с самого утра понедельника и до позднего вечера субботы. Знаешь, сколько он всего получит в год? Три фунта восемнадцать шиллингов.

— Ну что же, это немало.

— Немало за целый год работы! А знаешь, сколько было денег в бумажнике, который ты сегодня добыл? Двадцать семь фунтов! То, что он зарабатывает в семь лет. Что бы он сказал, если бы знал, что ты в одну минуту, не пачкая рук, можешь заработать столько, сколько он в семь лет! Я думаю, он счёл бы свою жизнь очень несчастной!

— Может быть, он сказал бы, что лучше получать меньше, да зато... без опасности, — несмело голосом замечтал я.

— Ну конечно, хороший виноград, да зелен! Слыхал эту базнию, Джим? Так сказала одна лисица, когда ей не удалось достать сочную виноградную кисть. Я не хочу, чтобы ты слишком много о себе мечтал, Джим, но ты должен понимать, что без

лóвкости, без талáнта нельзя сдéлать ту штúку, каку́ ты сдéлал сего́дня. А у тогó бéдного мальчугáна лóвкости-то, должно быть, не хватáет, вот он и принимáется поучáть другíх. Ведь он поучáл тебá, прáвда?

— Не знаю, как сказать... Он рассkáзывал мне, как он переменился, и всё такóе.

— Ну да, и как ему тепéрь хорошо живётся, и как ему страшно подумать о прéжней жíзни. Извéстное дéло. А ты что ему говорил?

— О чём?

— Обо мне.

— Ничегó!

— Что?!

В э́то врёмя мы пришли в пустынную, безлюдную часть гóрода. Произнеся послéднее восклициáние, мýстер Гáпкинс вдруг повернúлся ко мне и посмотрéл на менé с такýм вíдом, как будóто удивился, что я осмéливаюсь отрицáть очень хорошо извéстную ему вещь. Если бы я действительно говорил о нём, я не мог бы выдержать его взгляда. Тепéрь же я смéло посмотрéл ему в глазá и повторил:

— Я ни слова не говорил о вас.

Он вдруг захохотáл.

— Ещё бы! — вскричáл он. — Ещё бы ты вздумал говорить обо мне пéрвому встрéчному мальчишке в теáтре. Это было бы отли́чно!

И он продолжáл смеяться, будóто в словáх его было что-ни-будь особыенно забáвное.

— Вот что я тебе скажу о том мáльчике, о котóром у нас шла речь, — заговорил чéрез неско́лько минут Гáпкинс. — Он прóсто дурáк,ничегó больше. Конéчно, он в э́том не виновáт, но он дурáк, это несомнéнно. Он попробовал вестí привольную бáрскую жизнь: имéть много дéнег иничегó не дéлать; но способностей у него не хватáло, и вот он принялся работать, как вол, за три пéнса в день. А представь себé, если бы он нé был дурáк, если бы он был способный, талáнтливый мáльчик, вот как ты, неужéли он согласíлся бы на таку́ю жизнь? Да ни за

что на свёте! И кого он думает удивить тем, что работает с утра до ночи? Кто похвалит его? Решительно никто. Всякий, напротив, скажет: «Смотри, мальчик, помни, что ты должен быть счастлив, если мы не гоним тебя прочь. Чуть что не так, мы тебя вытолкаем вон, как последнюю скотину...» Ну, вот мы и пришли домой.

С этими словами он отворил дверь своего дома. Мы вошли в комнату, где нас уже ожидал великолепный ужин. На столе стояло блюдо с горячим мясным пудингом, другое блюдо с рассыпчатым картофелем, два блестящих стакана и большой кувшин пива.

Мистер Гапкинс пригласил меня сесть за стол рядом с собой и самым радушным образом накладывал мне на тарелку вкусные кушанья. Этот великолепный ужин сразу после рассуждения моего хозяина о несчастной жизни Рипстона сильно поколебал моё намерение исправиться. Конечно, бедный Рип, мальчик без таланта (я не понимал, что значит это слово, но оно мне очень нравилось), может проводить всю жизнь, таская кули с угольями. А я — другое дело! Он ведь не знает моих способностей. Он не знает, что я целых два месяца жил сам по себе карманным воровством. Он не знает, какое это легкое дело и сколько денег можно добывать им! Да и зачем, в самом деле, делать таким грязным бедняком, как Рип, если никто не скажет за это спасибо?

— А что, Джим, — заговорил мистер Гапкинс, — как ты думаешь, что теперь ест твой «честный» знакомый? Купил, бедняжка, кусок хлеба с заплесневевшим сыром, да и будь довolen, правда?

— Думаю, что так, — поддакнул я.

— Поест он, да и завалится спать где-нибудь на нарах, в тесноте и в грязи, а?

— Да, уж конечно, — засмеялся я вместе с мистером Гапкинсом.

— У тебя очень хорошенская спальня, — заговорил он спустя полчаса молчания. — Ты найдешь там в комоде рубашки и все белье. Платые там также висят хорошее, не знаю только — будет ли тебе впору. А что, есть у тебя часы?

— У менѧ часы? Да я никогдá и не мечтál о такóй рóскоши!

— Я сейчáс тебе принесу. Мой мáльчики всегдá при часáх.

Он вышел из кóмнаты и чéрез минúту возвратýлся, держá в руках прелéстные серéбряные часы с дли́нной серéбряной цепóчкой. Он сам надéл их на менѧ и очень лáсково научил менѧ, как заводить их. При вíде блестящеи цепóчки, болтáвшейся повéрх моéй кóрточки, я почúвствовал такóю разничу мéжду собóй и несчáстным Рíпом, что не мог дóумать о нём инáче, как с сожалéнием.

Пóсле ужина мýстер Гáпкинс выпил стакáн грóга, вýкурил сигáру и, спокóйно усéвшись на дивáне, попросíл менѧ расска-зать ему, что я вíдел в теáтре. Я принялсé подрóбно передавáть ему содержáние пýесы, так сильнo растрóгавшей менѧ. На него пýеса произвелá совсéм не такóе впечатлéние, как на менѧ и Рíпа. Он беспрестáнно прерывáл мой рассказ какими-нибудь насмéшливыми замечáниями, докáзывал мне, что все дéйствую-щие лица дураки и что в жýзни никогдá не мóжет случиться такíх глóупостей. В концé концóв мне стáло очень стýдно, что я мог растрóгаться подобной нелéпостью. Чтóбы мýстер Гáпкинс не угадáл, что я чuvствовал в теáтре, я соглашáлся со всéми его замечáниями, смéялся грóмче его самогó. Мы совсéм подружýлись.

Наконéц мýстер Джордж взглянúл на часы.

— Огó, как мы засидéлись! — вскричáл он. — Ужé двенáдцать часóв! Порá спать, Джим! Возьмý свéчку; не бедá, что я остáнусь в темнотé. Твой кóмната наверху, напráво. Когдá раз-дéнешься, позови менѧ, я унесу свечу.

Я пожелáл ему спокóйной нóчи весéлым гóлосом. Моё мнé-ние о нém стáло значítельно лúчше с тех пор, как мы вернúлись домóй. Он вíдел, что я готов усéрдно служить ему. Взяв в рóки свечу, я от práвился в своё кóмнату. Он предупредíл менѧ, что у менѧ бúдет хорóшенькая спáльня, но такóго великолéпия я не надéялся найти. Над кровáтью, зáстланной белоснéжным бельём, висéли красíвые сítцевые занавéски. На óкнах были белые шторы, на комóде стóяло зéркало, а на полú лежáл мáг-

кий пёстрый ковёр. Около умывальника висело чистое, белое полотенце. Я смело сунул голову в комнату, но, увидев её великолепие, быстро отступил, чтобы посмотреть, туда ли я зашёл. Нет ли другой комнаты напротив? Нет, никакой другой не было, это действительно моё спальня. Я снял сапоги, чтобы не испачкать чистый ковёр, и робко подошёл к постели. Мне очень хотелось хорошенько осмотреть все вещи в этой прелестной комнатке, но я вспомнил, что мистер Гапкинс сидит в темноте, и потому поспешил раздаться и улечься.

— Я готов! — закричал я. — Потрудитесь взять свечку!

Никто не отвечал мне. Тогда я встал с постели и отворил дверь, собираясь закричать погромче, как вдруг услышал голос мистера Гапкинса и молодой женщины, отворившей нам дверь. Они, очевидно, ссырились.

— Неужели же я у тебя будущим спрашиваться, когда мне уходить и когда приходить? Вот выдумала! Говорят тебе, иду по делу.

— И вчера и третьего дня ты всё ходил по делу, Джордж. Ты лжёшь! Я знаю, что ты дёлаешь! Я выслежу тебя!

— Ну, если лгу, так и спрашивать нечего; ухожу, да и всё тут!

Голос смолкли.

— Потрудитесь взять свечку! — закричал я.

Через минуту Джордж вошёл ко мне, взял свечку и молча ушёл прочь. Я услышал вслед за этим, как хлопнула дверь на улицу.

Сбора мистера Гапкинса с женой нисколько не тревожила меня. Он куда-то уходил, она его не пускала, — что мне за дело до этого? Я спокойно улегся в своей хоробшенькой кроватке и совсем собрался уснуть, как вдруг услышал стук в мою дверь.

— Кто там? — спросил я.

— Оденься и сядь вниз, мальчик, мне надо поговорить с тобой.

Я узнал голос миссис Гапкинс. Она приотворила дверь, поставила зажжённую свечу на пол моей комнаты и, не говоря ни слова больше, ушла прочь.

Миссис Гапкинс рассказывает мне неприятные вещи

Я не смел ослышаться приказания миссис Гапкинс — ведь она была моей хозяйкой. Я быстро вскочил с постели и начал одеваться.

— Не надевай сапог, — закричала она мне с лестницы, — оставь их наверху!

Это новое приказание отчалило успокоило меня. Я помнил, как она неласково приняла меня, и боялся, что теперь, когда Джорджа не было дома, она просто выбгонит меня на улицу, но в таком случае она, конечно, не велела бы оставить сапоги.

Спустившись вниз, я увидел, что она сидит в гостиной одной и что глаза ее красны и опухли от слез.

— Войди же! — нетерпеливо вскричала она, видя, что я внерешимости остановился на пороге. — Войди и запри дверь.

Я вошел, хотя моя робость и моё недоумение все возрастали.

— Подойди сюда, постарайся свечку на стол и дай мне хорошенько посмотреть на тебя: я ведь почти не видала тебя.

Не знаю, что она подумала обо мне, но пока она пристально и серьезно разглядывала меня своими красивыми, заплаканными глазами, мне представилось, что она, должно быть, просто пьяна.

— Сядь, — сказала она, видимо удовлетворившись своим осмотром, — и скажи мне: что ты за мальчик?

— То-есть как — что за мальчик? — с удивлением спросил я.

— Совсем ли ты испорченный ребенок, испорченный до мозга костей, как все те маленькие негодяи, которые жили у нас?

Она пристально глядела на меня, и я чувствовал, что краснею. Что ей ответить? Конечно, если бы я был хорошим мальчиком, мистер Гапкинс не взял бы меня к себе.

— Я не знаю, что значит совсем испорченный мальчик, — сказал я. — Я думаю, что я не совсем испорчен. Вы спросите

лúчше у мýстера Гáпкинса,
какóв я.

— Дóлго ты был вóром?

— Нéсколько недéль.

— Тóлько недéль! А чá-
сто сидéл в тюрьмé?

— Ни ráзу.

— Ни ráзу! Есть у тебя
мать?

— Была, да умерла, ко-
гдá я был ешё мáлеñьким.

— А отéц?

— Не знаю; мóжет быть,
и он ýмер; мне éто всё равнó.

— Он, вéрно, вор? Почтý
всегdá сидйт в тюрьмé, а?

— Отéц — в тюрьмé? Кто это вы́думал? Он слáвно задáл бы
томý, от когó услышал бы такие словá! Мой отéц чéстный че-
ловéк!

Негодовáние придало мне смéлость взгляну́ть ей прýмо в
глазá. Она улыбну́лась.

— Так отчего же ты сдéлся вóром? — спросила она. —
Как ты познакомился с Джóрджем? Он тебе нráвится?

— Да, очень, — поспешил я отвéтить. — Он очень хоро́ший
человéк.

— Он — хоро́ший человéк? — вскричáла она со злóбным
смéхом. — Сказáть тебе, кто он? Он паўк, который незамéтно
затянет тебе в своё паутíну и вы́сосет всю твою кровь!

— Вы́сосет мою кровь?

Горя́чность, с какóй говорýла мýссис Гáпкинс, испугáла
менéй.

— Кровь вся́кого, кто попадётся емý! Он настóящий вам-
пíр! Как ты дúмаешь, зачём он взял тебе к себé?

Если она не знала зачём, то, пожáлуй, Джордж Гáпкинс
рассéрдится на менéя за то, что я ей скажу. Если же она знала,
то не стóило отвечáть ей. Я понимáл, что она, поссорившись со



своим мужем, хочет восстановить меня против него. Но, вспомнив, как обыкновенно вела себя миссис Берк, я сделался очень осторожен: если я скажу что-нибудь дурное против хозяина, она завтра же, помирившись с ним, все перескакет ему. Кроме того, убедившись, что она не пьяна, я стал еще больше бояться ее. Всё это заставило меня отойти к дверям с намерением при первом удобном случае убежать наверх и запереться в своей спальне.

— Мы с ним поладили, — проговорил я по возможности примирительным тоном, — я всем доволен; если что не так, об этом можно поговорить завтра утром.

Она несколько секунд глядела на меня с выражением страдания, смущавшего меня еще больше, чем ее гнев.

— Хорошо, если ты это говоришь только по незнанию, — проговорила она. — Ты доволен! Доволен тем, что тебе придется просидеть в тюрьме несколько месяцев... может быть, несколько лет! Доволен тем, что всю жизнь будешь носить имя, которое сдается позором и для тебя и для всех твоих близких! Положим, у тебя нет ни отца, ни матери; но неужели нет никого, кто был когда-нибудь добр к тебе и о ком ты будешь думать, когда тебя посадят в тюрьму за воровство?

Да, конечно, у меня был такой человек. Я вспомнил миссис Уинкип. Я вспомнил ту ночь, когда она и Марта приютили, накормили, одели и приласкали меня. Я вспомнил, как она хотела сделать из меня честного мальчика, и почувствовал, что мне будет очень и очень тяжело, если она узнает, что я сижу в тюрьме за воровство. Но с какой же стати мне этого бояться? Ведь Джордж Гапкинс обещал выручить меня из всякой беды.

— Я не попаду в тюрьму, — сказал я. — Я уже больше двух месяцев занимаясь этим делом и ни разу не попадался. А тогда мне еще никто не помогал.

— А теперь ты нашел помощника! — вскричала она. — Он поможет тебе на долгое время засесть в тюрьму. Это его всегдашаия манера. Он тысячу раз говорил мне: «Я никогда не начну работать свежими руками, пока не отдалась от старых». Каждый мальчик служит у него, пока не станет известен

полиции, пока за ним не начнут следить. Понимаешь ты меня теперь?

Трудно было не понять.

— А мастер Гапкинс не то говорил мне, — заметил я. — Он обещал, что не пожалеет никаких денег, чтобы выручить меня из беды.

— «Он обещал!» Да разве можно верить обещаниям этого обманщика, этого злодея? Слушай, мальчик. Я тебе много рассказала. Ты можешь завтра же выдать меня мужу, и он избьет меня до полусмерти. Он уже не раз избивал меня. Мне все равно, мне надоела эта жизнь!

Она положила голову на стол и заплакала так горько, что у меня вспыхнули слезы на глазах.

— Пожалуйста, не бойтесь, — сказал я, подходя к ней. — Я ничего ему не скажу. Я не стану вредить человечку, который желает мне добра.

— Я желаю тебе добра, — сказала она, поднимая над столом свое заплаканное лицо. — Всё, что я тебе говорила, правда, истинная правда!

— Я вам верю, только посоветуйте мне, что же мне делать?

— Поди ляг в постель и сам подумай. Поди и подумай, куда тебе деться, когда ты убежишь отсюда.

— А если я убегу, он погонится за мной, как вы думаете?

— Придумай такое место, куда бы он не смел гнаться за тобой. Иди ложись и думай об этом. Прощай!

Я вернулся в свою комнату в сильном раздумье. Хорошо ей было говорить: «Ляг в постель и подумай». Как я мог думать, когда после всех необыкновенных событий нынешнего дня в голове моей остался какой-то хаос? Одно только было мне ясно. Миссис Гапкинс сказала мне правду: ее муж негодяй, и если я останусь у него, меня ожидает самая несчастная участь. Я должен бежать — но куда? Куда он не посмеет гнаться? Куда же это? Этого вопроса я не мог решить. «Засну-ка я лучше теперь, — сказал я сам себе, — а завтра поговорю с ней об этом. Она, наверно, присоветует мне что-нибудь».

На великолепных часах, подаренных мне накануне мастером

Гáпкинсом, бы́ло вóсемь часóв, когдá я проснúлся на слéдующее ýтро. Я не слыхáл, как мýстер Гáпкинс возвратíлся домóй, но тепéрь я слы́шал скрип егó сапóг по лéстнице — знáчит, он был дóма. Я ожидáл, что он позовёт менé, но он, не говорý ни слóва, прошёл мýмо моéй кóмнаты, и чéрез нéсколько минút я услы́шал, что он ухóдит ýз дому. Я лежáл в постéли, придумывая, что мне дéлать, когдá я встáну, как вдруг ýличная дверь отворíлась и я услы́шал шаги двух мужчýн по лéстнице. Чéрез нéсколько врémени Джордж Гáпкинс вошёл ко мне в кóмнату.

— Ну, Джим, — сказáл он, — тебé, кáжется, придётся быть сегóдня и побваром, и слугóй, и всем на свéте: женá заболéла.

— И сýльно заболéла, сэр? — спроси́л я, вспомнив стрáнное выражéние её лицá накану́не.

— Так сýльно, что я сейчáс ходíл за дóктором. Дóктор говорít, что у неё начинáется тиф.

Болéзнь мýссис Гáпкинс оказáлась нешúточной и продолжáлась цéлых три недéли. Во всé это врéмя я ни ráзу не вíдел её. Мýстер Гáпкинс нáнял какýю-то старúшку, которая ухáживала за ней, готовила кúшанье и исполняла домáшние рабóты, причём я усéрдно помога́л ей. Другóго дéла у менé нé было. Хозáин не испóнил своегó обещáния и не дýмал обучáть менé всем тóнкостям нáшего ремеслá. Он так бóялся заразиться тýфом, что почтý никогда не сидéл дóма. Он обéдал вмéсте со мной в столóвой, сидя у откры́того окна и беспрестáнно нюхая бáночку со спíртом. Затéм уходíл и не возвращáлся домóй до пóздней но́чи. Спал он в той же столóвой, на дивáне.

Моё положéние бы́ло очень недурнóе. Менé кормíли хорошо. Хозáин всегдá давáл мне шíллинг, когдá я его проси́л, и позволя́л мне гулять, где я хочú, от шестý до десяти часóв вéчера. Он не тóлько не научíл менé дурнóму, а, напротив, кáждое ýтро, уходя́ ýз дому, говорíл мне: «Пожáлуиста, ты не берíсь за рабóту и не ходíй ни в какие дурные местá. Скúчно тебé — сходí в теáтр или в концéрт. Если тебé нужны дéньги, берí у менé, а сам не добыва́й». Такýм óбразом, хотя́ я не забыváл со-véta, дáнного мне мýссис Гáпкинс, я находíл, что бежáть тепéрь бы́ло бы очень глúпо. Кróме тогó, хотя́ я не видáл моéй боль-

нёй хозя́йки, но онá ча́сто дава́ла мне мéлкие поручéния. Я окáзывал ей небольши́е услúги, и мне казáлось, что я посту́пил бы очень неблагорóдно, если бы бро́сил её, покá онá больна.

Чéрез три недéли мíссис Гáпкинс вы́шла из своéй кóмнаты. Онá былá страшно худá и бледнá, дли́ные вóлосы её бы́ли кóротко острýжены, и на головé у неё был чéпчик. Это так обезобра́зило её, что я с тру́дом узна́л её. Мíстер Гáпкинс, не видáвши́й своéй жéны ужé недéли две, был тákже поражён перемéной в её лицé.

— Эким уróдом ты стáла! — замéтил он. — Я на твоём ме́сте не вы́шел бы из кóмнаты с такой физионóмией.

— Я бы хотéла быть ещé вдéсятеро безобра́знее назло тeбе! — отвечáла онá довбльно нелáсковым гóлосом.

Бýло ясно, что болéзнь мíссис Гáпкинс не примирýла мойх хозя́ев.

Возвратýвшись на слéдующий вéчер домóй, я очень удивýлся, уви́дев, что онá сидít в столóвой вмéсте с мíстером Гáпкинсом и какýми-то двумá мужчýнами. Онí все о чéм-то вéсело разговáривали, смея́лись и, казáлось, бы́ли в полном соглáсии. Впрóчем, разговóр у них шёл, должно быть, делово́й, потому что, когда я вошёл, мíстер Гáпкинс указáл своим приýтелям на менéя. Те осмотрéли менéя с ног до головы, и затéм мне было прика́зано и́ли отправля́ться спать, и́ли идти́ ещé гулять. Я вы́брал пérвое.

Не знáю, дóлго ли я спал, но менéя разбудýло прикосновéние чье́й-то рукý к моему́ плечу и гóлос мíссис Гáпкинс:

— Ты не спиши́, Джим?

— Нет, не сплю.

— Дúмал ты о том, о чéм мы с тобóй говорýли нóчью перед моей болéзнью?

— Да, я мнóго раз об э́том дúмал и передúмывал.

— Ну, и что же? Ты реши́л послéдовать моему́ совéту?

— Да, конéчно, тóлько я не знáю, кудá мне бежáть.

— Ты дóлжен скорéе приду́мать. Если ты не уйдёшь зáвтра, тебé придётся кáяться всю жизнь. Ты вíдел сего́дня в столóвой двух приýтелей моего́ мóжа — Туйнера и Джона Армитеджа?

Оні вмёсте затевáют дурнúю штýку и тебя возьмут в помо́щи-ники.

— Какýю же такýю штýку?

— Грабёж. Шш... не спрашивай больше! Это бўдет сде́лано зáвтра или послезáвтра нόчью... в Фульгете, улица Прескот, нóмер двенáдцать, у стáрого мýстера Джéнета. Послúшайся ме-ни: зáвтра утром, как только встáнешь, иди тудá, кудá он не посмéет погна́ться за тобой, и расскажай там всé. Только не го-вори́ничего обо мне. Понима́ешь?

— Понима́ю, не беспокóйтесь, пожáлуйста! — отвечáл я.

— Я и не беспокóюсь, я знаю, ты добрый мальчик и не за-хочешь за добро заплатить злом. Проща́й, мне надо идти вниз, онí сейчáс вернúтся. — Онá потрепáла менé по щекé своéй го-рячей рукóй и вышла вон.

Наконéц должна́ была́ начáться моя слúжба у мýстера Гáпкинса! Стрáнно только, что он брал менé помо́щником в такóм вáжном дéле, как грабёж, не подучив менé сперва́, как обеща́л. Ещё удивительнее казáлось мне поведéние мýссис Гáпкинс. Если онá хотéла, чтобы я убежа́л и не участвовал в дурном дéле, зачём назвалá онá мне сообщников своего мýжа и тот дом, который онý собира́лись ограбить? Я ворóчался на постéли, ду́мая и передумывая однó и то же, но моя глúпая головá не могла отве́тить на эти вопро́сы. Наконéц я решíл, что на слéдующее утро, как только встáну, побегу́ в Спиталфилд, разыщу́ там Рýп-стона, расскажу́ ему́ всé дéло и попрошу́ его́ совéта. Сначáла я хотéл обратиться за совéтом к мýссис Уýнкшип, но, вспóмнив, что óколо её дóма могу́ встрéтить отца и что онá, пожáлуй, сéрдится на менé за излéну Бéльчера, отказался от этого пла́на.

XXV

Я изменяю Джорджу Гапкинсу.—Занавес падает

На слéдующее утро, после зáвтрака, Джордж Гáпкинс ска-зál мне:

— Ты много́го не шля́йся сего́дня, чтобы не слíшком устáть к нóчи. Ты мне понáдobiшься.

— Зачём? — спросил я с самым невинным видом.

— А тебе что за дело? Узнаешь, когда нужно будет.

Через несколько времени он позвал меня в небольшую прачечную, на другом конце дворя. Там было маленькое оконечко в одно стекло, отворявшееся в кухню.

— Посмотри-ка, можешь ли ты пролезть через такое отверстие? — спросил он.

Я с трудом просунул плечи сквозь маленькое оконечко и соскочил в кухню.

— А нельзя тебе еще побольше нашуметь? — спросил он насмешливо.

Я пролез еще раз, стараясь ступить как можно тише.

— Вот это лучше, — заметил он. — Попробуй еще раз, становясь на цыпочки.

Я пролез еще и еще раз, всего раз двадцать.

— Ну вот, теперь хорошо! — сказал Джордж. — Какие у тебя сапоги, Джим?

— Крепкие, на толстых подошвах, сэр.

— Это не годится. Тебе нужно купить пару тонких башмаков, которые ты мог бы легко снимать и надевать. Поди купи себе сейчас. На Бишопстрит есть башмачная лавка.

Он дал мне десять шиллингов, и я ушел. Мне нужно было пройти мимо столовой. Миссис Гапкинс увидела меня; она кивнула мне головой и тихо шепнула: «Пора! Пора! Беги! Потом будет поздно!» В ответ я кивнул ей головой.

Ясно было, что она не обманула меня вчера. Мистер Гапкинс не объяснил мне, для какого дела я был ему нужен, но я понял, что мне придется влезать куда-нибудь в окно и таким образом принимать участие в грабеже. А за грабеж ссылают, как я слыхал, на каторгу. Значит, я погибну на всю жизнь, если не убегу как можно скорей.

Не раздумывая больше, я направился к Спитал菲尔ду.

Я не знал, где именно находится фабрика, на которой работал Рипстон. Наверно, если я спрошу сталелитейную фабрику Беккера, мне покажут. Теперь как раз около двенадцати. Зна-

чит, рабóчих скóро отпúстят обéдать. Я покараúлю у ворóт и поговорó с Рýпом.

Фáбрику мне действительно сráзу показáли. У ворóт тол-пíлось мнóго жéнщин со свéртками и судkáми. Онí, должно быть, принеслí едú тем рабóчим, которые обéдают на фáб-рике.

«А вдруг и Рýпстона не выпускáют на ýлицу? — подúмал я. — Что мне тогдá дéлать?»

Но в éто врéмя прозвонíл кóлокол, и сráзу во двор вýсыпа-ла цéлая толpá рабóчих. Все шли к ворóтам. Однí бráли свéрт-ки у свойx жéн, а другíх стóрож выпускáл на ýлицу.

Вдруг калítка широкó распахну́лась, и из неё вýбежала ватáга мальчишek. Я сейчáс же увíдел средí них Рýпстона. В пéрвую минúту он не замéтил менá, но как тóлько я окликнул его, он тóтчас же рáдостно закричáл:

— А, Смиф, дружýще! Вот молодéц, что пришёл!.. Чáрли, это тот мáльчик, о котóром я тебé говорýл, — обратíлся он к своему товáрищу. — Ну, Смиф, идём с нáми в кухмýстерскую, там и поболтáем. У нас полторá часá свобóдных.

Мне не óчень-то хотéлось говорýть при посторónнем мáль-чике, но дéлать бýло нéчего. Я бýло попытáлся подмигнúть Рýпу, но онничéгó не понял. Потóм я подúмал:

«Всё равнó он, вéрно,ничéгó не скryváет от своегó товáри-ща. Я не назову ýмени Гáпкинса».

Мы пришлí в кухмýстерскую и сéли в уголкé за отdéльный стóлик. Рýпстон с товáрищем пошлí к стóйке, вынули из кармáнов какиé-то билéтики и получýли по тарéлке похлéбки и по куску хléба. Я сказál, что не гóлоден.

Покá онí éли, я тихóнько рассkáзывал им, что мне говорýла женá моегó хозяина и что затевáется сегóдня нóчью.

— Ах он, мерзáвец éтакий! — закричáл Рýпстон, когдá я кончил. — Да егó повéсить мáло! Сам какиé штúки устрáивает, а другíх подвóдит! Чегó тут дýмать? Подí, да и расскажí по-лиции!

— Нет, это не дéло, Рип! — остановíл егó Чáрли, до сих пор мóлча слúшавший менá. — Полíцию пútать не годýтся. Вíдно,

что ты недавно стал рабочим. Настоящий рабочий никогда с полицией связываться не станет.

— Значит, по-твоему, так ему и позволить грабить да убивать?

— Нет! Но неужто без полиции не обойтись?.. Ты ведь знаешь адрес того человека, которого он хочет ограбить? — обратился Чарли ко мне.

— Знаю, — отвечал я.

— Ну, и отлично! Поди к нему сейчас и предупреди его. Он тебе спасибо скажет. А коли ему понадобится помошь, я ему таких молодцов приведу, что со всякими грабителями спрявятся.

Я посмотрел на Рипстона.

— Ну что ж, Смиф, — сказал он немногого смущенно. — Он и вправда: так, пожалуй, лучше. Ты не бойся. Если ты сам придёшь, он не подумает, что ты такой же, как они.

— Ты лучше не мешкай долго, — прибавил Чарли внушительно. — Дело серьезное. Надо дать человечку приготовиться.

Я встал. Я знал, что мне надо идти, но ужасно боялся.

— Да ты что, Смиф? — усмехнулся Рипстон. — Трусишь, верно?.. Чарли! — прибавил он, обратившись к товарищу. — Сходил бы ты с ним. У нас ещё час времени есть. А то ему одному страшно.

— Ну что ж, пожалуй, — проговорил тот охотно. Ему, видимо, было приятно, что к нему, словно ко взрослому, обращаются за помощью.

Я простился с Рипстоном, и мы быстро отправились в Фульхет. Это было не очень далеко. На той же окраине, где и фабрика. Только улица Прескот была много чище.

Для верности мы спросили в соседней лавочке, и нам сказали, что мистер Джентльмен действительно живёт в доме № 12, один. Он старый моряк и уже давно поселился тут.

Дом № 12 стоял особняком, в глубине маленького садика.

Калитка оказалась не заперта. Когда мы позвонили у польезда, нам отворил рослый молодой человечек.

— Дома мистер Джентльмен? — смело спросил Чарли.



— Отéц дóма, — отвéтил тот. —
Вы по какóму дéлу? Он ведь ужé
больше не пláает.

Вéрно, он подúмал, что мы при-
шлý нанимáться к нему на корáбль.

— Нам нúжно вíдеть мýстера
Джéнета по вáжному дéлу, — сказáл
Чáрли уверенным голосом.

Молодóй человéк окýнул нас обó-
их удивлённым взглýдом, ноничегó
не сказáл и вошёл в дом.

— Говорíли, что он оди́н живёт,
а у него вон какой сын! — замéтил
Чáрли.

Мне бýло не до разговóров.
Я стрáшно волновáлся и с кáждым

чáсом всё больше. Хорошо ли я дéлаю, что выдаю Гáпкинса?
Ведь из-за меня его мóгут послáть на кáторгу, е́сли мýстер
Джéнет зайвит полíции. А мóжет быть, он не повéрит мне и
меня отпрáвят в полíцию? Но ужé поздно бýло раздúмывать.
Дверь отворíлась, и тот же молодóй человéк позвáл нас в дом.

Мýстер Джéнет встрéтил нас очéнь привéтливо. Это был ши-
рокоплéчий старик с тёмным, загорéлым лицóм и густýми бé-
лыми волосáми. Он усадíл нас прóтив себя и спросíл, какóе у
нас вáжное дéло.

Тут, вíдимо, и Чáрли немнóго смутýлся. Он оглянúлся на
меня и сказáл:

— Вот э́тот мáльчик, сэр, рассkáжет вам всю истóрию. Вы
ему вéрьте. Это всё прáвда. Я вам за него ручáюсь.

Мýстер Джéнет слегкá усмехнúлся, но потóм серье́зно по-
смотрéл на меня и сказáл кóротко:

— Ну, выклáдывай всю прáвду! Я слúшаю.

Запинáясь и пútаясь, я начáл рассkáзывать. Он не прерывáл
меня. Понемнóгу я собráлся с дúхом и ужé довольно свýзио
рассказáл ему, что затевáется нýнешней нóчью.

Когдá я кóнчил, он замéтил, тóчно про себя:

— Вот кстáти, что мой мáльчики пришлý как раз сего́дня. — С э́тими словáми он отворíл дверь и крикнул: — Джон, подй сюдá и позовй Тóма!

Чéрез нéсколько минúт в кóмнату вошлý два высóких моло́дых человéка.

— В чём дéло, отéц? — сказál тот, котóрый отворýл нам. — Чтó-нибудь случилось?

Мýстер Джéнет подрóбно переда́л им мой рассkáз. Онí предложи́ли мне еще нéсколько вопросов. Потóм мýстер Джéнет ото́звáл их к окнú и нéсколько минúт о чём-то совещáлся с нýми. Потóм он подошёл опять ко мне и спроси́л:

— В котóром часу ты ушёл с улицы Кэт?

Я помнил, что былá половина двенáдцатого, когда я заглянúл в столóвую, где стояла мýссис Гáпкинс.

— Тепéрь чéтверть вторóго, — сказál мýстер Джéнет. — Он велéл тебе купить башмакý и вернуться?

— Да, сэр.

— Ну, так бегí скорéй, купи такиé башмакý, как он велéл.

— Но, сэр, — замéтил я, — мой сапогý еще совсéм крéпкие.

Мýстер Джéнет улыбнúлся и замéтил:

— Ты, кáжется, хоро́ший мáльчик. Счастье твоё, что ты вóвремя останови́лся. Как тóлько кóпиши башмакý, бегí скорéе на улицу Кэт.

— Назáд, на улицу Кэт? К Джóрджу Гáпкинсу? Да зачéм же это, сэр?

— Вíдиши ли, я хочу́, чтобы он пошёл на э́тот грабёж, — отвечáл мýстер Джéнет. — Ты не глóупый мáльчик, понимáешь, зачéм нам э́то нýжно. Тебя́ не ожидáет никакáя опасность, — прибавил он, замéтив, что я стрýсили. — Если бы ты был сообщи́ником э́тих негодяев, тебе, конечно, достáлось бы очень сильно; тепéрь же другое дéло: ты помогáешь мне поймáть их, я обещáю защитить тебя. Даю тебе чéстное слóво, что с э́той минуты и до конца́ всего́ дéла мы с сыновьями глаз с тебе́ не спúстим.

Последние слова мýстер Джéнет произнёс осóбенно выра́зительно, вероятно желáя дать мне понять, чтобы я не вздúмал обмануть его.

— Ещё одно слово: могу я довериться тебе?

Он положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза.

— Можете, сэр, — отвечал я. — Если вы говорите, что со мной не случится ничего дурного, что вы не дадите меня в обиду, так я исполню все, как вы велели.

— Ну, и прекрасно! Иди домой и не рассказывай никому, где ты был. Тебе, верно, придется пролезать через какое-нибудь маленько оконечко — так ты не бойся: я буду стоять подле и ждать тебя. Там будет, верно, темно, но ты меня узнаешь по тому, что я возьму тебя за волосы... вот так. Ну, теперь ступай.

Чарли заскучал было, что готов помочь ему, но тот поклонился ему по плечу и сказал:

— Спасибо, малый. Хоть я и старик, да руки-то у меня, пожалуй, посильнее твоих. Недаром всю жизнь работал на корабль! И сыновья у меня ничего — не дадут отца в обиду.

После этого нам оставалось только отправиться домой.

Чарли быстро попрощался со мной и побежал на фабрику. Он взял с меня слово, что на другой день я зайду к ним опять в обед и расскажу, как обошлось все дело.

У меня не было в голове ни одной определенной мысли; я знал только одно, что в точности исполню приказание мистера Джэнета. Я не думал, что подвергаю себя при этом какой-нибудь опасности. Когда я вернулся в улицу Кэт, Джорджа Гаппингса не было дома, и мне отворила дверь жена его. Я думал, что она очень удивится, увидев меня, но она, напротив, пристально посмотрела на меня и затем весело вскричала:

— А, ты вернулся, Джим!

— Да, я останусь здесь, — отвечал я.

— Ну, и отлично, я очень рада, что ты останешься! — вскричала она.

— А вы же мне говорили, чтобы я ушел! — с удивлением заметил я.

— Ну да, ты ушел и опять пришел. Я очень рада!

Через несколько минут она спросила меня, помню ли я то место, куда ее муж хочет идти сегодня ночью. Я назвал ей.

— Отли́чно, Джымми! — вскричала онá, опять смеясь своим странным смéхом. — Ты умный мальчик: умеешь и помнить скрёты и хранить их! Славная штúка, не пра́вда ли? Ха, ха!

— Да, очень, — пролепетал я и в сильном волнении бросился наверх в свою спальню.

Я так и не узнал, подозревала ли онá, в чём дело. В четы́ре часá онá оделась и ушлá кудá-то, оставив меня одного дома. Около семи часов вернулся Джордж Гáпкинс. Он сначала рассердился, не застáв женé дома, потом повеселел. За чáем он щутíл и разговáривал со мной сáмым добродушным образом. Мне было очень тяжело слушать его щутки. Лучше бы он злылся и ворчал на меня, — тогда у меня на сердце было бы легче. После чáя он спросил:

— Знаешь ты Фульгет, Джим?

Я отвечал, что не знаю.

— Ну, все равнó. Надéнь свой новые башмаки и иди пешком до бáнка, а там садись в фульгетский дилижанс; как доедешь до Фульгета, спроси, где мост, и поверни в трéтью улицу за мостом; там ты найдёшь пивную; войди в неё и спроси, дома ли мистер Мéзон. Отправляйся скорéй.

Надéв новые башмаки, я с радостью вышел из душной комнаты на свéжий воздух и быстрыми шагами направился к бáнку.

В девять часов я дошёл до улицы, указанной мне мистером Гáпкинсом.

Мальчик, стоявший за прилавком пивной, сказал мне, что мистер Мézon ждёт меня в своей комната, и, войдя тудá, я увидел Джорджа Гáпкинса, Туйнера и Джона Армитеджа, занятых игрой в карти.

— Я мистер Мézon, — сказал мне хозяин. — Посиди, подожди немного, Джымми.

Они продолжали играть и пить пиво. Хозяин пивной несолько раз приходил к ним и заговаривал с ними как со старыми знакомыми. Наконец в половине двенадцатого, когда совсем стемнело, мы вышли на улицу. Джордж шёл со мной впереди, а двое других следовали за нами. Мы прошли таким образом с добрую милю. Дорогой мистер Гáпкинс объяснил мне, что я



должен был дёлать: мне нужно пролéзть в ма́ленькое окóшечко, осторóжно пробра́ться вдоль стены и затéм отсдвинуть задвижку, запиравшую дверь.

— Ты не бо́йся, — приба́вил он. — Если бы дёло было опа́сное, я не взял бы такого ма́льчика, как ты. Ты ведь можешь сде́лать всё, что я тебе сказáл?

— Могу́, — отвечáл я, дрожá как в лихорáдке.

— Мы всё устроим отли́чно, — сказáл мýстер Гáпкинс. — Там нет дáже собáки, а хозяин ráно ложится спать.

Он, очевíдно, не знал, что мýстер Джéнет был тепéрь не одýн.

Мы повернúли в небольшóй переулок и подошли к

забору. Туйнер и Джон Армитедж догнали нас, и мы все тýхо, как кóшки, перелéзли чéрез забóр. Пóсле этого мы пошли по дорожке, усыпанной песком, и подошли к большóму тёмному дому. Ни слóва нé было произнесено. Я замéтил, что Джон Армитедж свинтил какие-то блестя́щие инструмéнты, влез на плéчи к Туйнеру и стал чтó-то дёлать в стенé. Минúты чéрез две чтó-то звякнуло, и он соскочил вниз.

— Сними башмакí, Джим, — шепти́ул мне Джордж.

Дрожá от страха, я снял башмакí. Джордж взял меня́ на руки, влез на спину к Туйнеру и просунул мой ноги в каку́ю-то дырú.

— Тут тéсно, Джим, — прошептáл он, — да ничегó, ты про-

лéзешь. Прижмí крéпче руки к бокам! Полезáй бочком! Хорошо! Прýгай, не бóйся, тут невысокó; не забúдь, что я тебе гово-рил о дvéри и о задвíжке.

Я дéлал всé, что он мне прикаzывал, и при послéдних словáх его прýгнул вниз. Здесь, к великому моему утешению, чья-то невидимая рукá схватила меня за вóлосы, другáя невидимая рукá зажáла мне рот, меня тихóнько втолкнúли в каку́ю-то комнату и зáперли там.

Что бýло дáльше, я не вýдел. Я слýшал лёгкий скрип отворяе мой задвíжки, затéм шум шагóв, крики, громкий голос Джорджа Гáпкинса, шум потасовки, тóпот ног и бóльше ничегó.

План мýстера Джéнета вполнé удался. Онý хорошо проучили Джорджа Гáпкинса и его товáрищей. А на бóудущее вре́мя пригрозили и не так раздéляться.

Когдá меня вы́пустили из чулáна, грабителей и след прости. Мýстер Джéнет пожáл мне руку, сказал, что я молодéц и что он охотно взял бы меня юнгой, если бы еще плáвал на корабlé.

Я переночевáл у мýстера Джéнета. На другóй день меня кормили сýтным завтраком, еще раз поблагодарил, и к двенадцати часам я опять побежáл на фáбрику.

Рýптон и Чáрли вы́скочили после звонка чуть не сáмые первые. Онý потащили меня на соседний пустырь и заставили подробно рассказáть, как всé произошло.

— Молодéц! — вскричáл Рýптон, когдá я кónчили.

И дáже Чáрли одобрительно похлóпал меня по плечу.

По прáвде сказать, я совершено не понимáл, за что меня все хвáлят. Я ведь страшно трýсил всé вре́мя, хоть и старáлся не покáзывать этого.

Но меня занимáло другóе. Я нерешительно посмотрéл на Чáрли и спросил:

— А что, могу я тóже стать рабóчим?

— Отчего же! — отвечáл тот. — Мóжет быть, дáже и сейчас у нас найдётся ме́сто. Вчera как раз мýстер Кráус — это наш ма́стер — говорил, что с завтрашнего дня бóудут ломáть одну старую печь и стáвить на её ме́сто новую. Так тут понáдоятся

ещё мальчики, чтоб вывозить мусор. Если хбчешь, я порекомендую тебе.

Я был в полном восторге.

После обеда Чарли и Рипстон свели меня к мастеру Краусу, и он велел мне приходить на следующий день на работу.

С этих пор я уже перестал быть «маленьким обрвышем» и сдёлся маленьким рабочим.

Новая жизнь принесла мне много труда и лишений. Но, как ни трудно мне порой приходилось, меня поддерживала мысль, что я теперь не одинок, как прежде. Рядом со мной — мой товарищи. Они поддержат меня в трудную минуту, и вместе с ними мы когда-нибудь добьёмся лучшего будущего для всех больших и маленьких обрвышей, которые с самого раннего детства не знают ни ласки, ни радости.



О ГЛАВЛЕНИЕ

<i>E. Брандис. О Джемсе Грайнвуде и «Маленьком обобр- выше»</i>	3
I. <i>Мáчеха</i>	9
II. <i>Нóые мучéния.—Бéгство</i>	14
III. <i>Вéчер на Смитфилдском рýнке.—Мне угрожáет серъéз- ная опасность</i>	18
IV. <i>Я прóбую лáять.—Мой нóые знакомые</i>	26
V. <i>Арки</i>	31
VI. <i>Товáрищество «Рíпстон, Мóулди и К°»</i>	41
VII. <i>Я начинáю рабóтать</i>	48
VIII. <i>Собачонка.—За мною следят.—Неприятная ночь</i>	57
IX. <i>Я попадáю в рабóтный дом</i>	65
X. <i>Я остаю́сь в живых</i>	71
XI. <i>Я ешё раз направляю́сь к улице Тернмíлл</i>	77
XII. <i>Я знакомлю́сь с двумя джентльменами</i>	85
XIII. <i>Я дéлаюсь уличным певцом.—Стáрый друг</i>	94
XIV. <i>Стáрый друг угощáет и одевáет меня</i>	101
XV. <i>Мой нóый хозяин</i>	109
XVI. <i>Паук и его собáка.—Тайственная сáжа</i>	118
XVII. <i>Желáние моё исполняется</i>	126
XVIII. <i>Сцéна более страшная, чем все представлéния в театре</i>	134
XIX. <i>Я убегаю от полíции</i>	142
XX. <i>Я вступаю на нóый путь</i>	147
XXI. <i>Я знакомлю́сь с Джорджем Гáпкинсом</i>	151
XXII. <i>Я встречаю стáрого товáрища</i>	157
XXIII. <i>Моё намéрение перемениться быстро исчезáет</i>	166
XXIV. <i>Миссис Гáпкинс рассkáывает мне неприятные вéши</i>	174
XXV. <i>Я изменяю Джорджу Гáпкинсу.—Зáнавес пáдает</i>	180

ДЛЯ СЕМИЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ

**Джемс Гринвуд
МАЛЕНЬКИЙ ОБОРВЫШ**

Ответственный редактор Г. Ф. Ермоленко.
Художественный редактор Н. Г. Холодовская.
Технический редактор М. Д. Суховцева
Корректоры
Т. Н. Лейзерович и А. В. Ясиновская.
Сдано в набор 2/VI 1956 г. Подписано к печати
23/VIII 1956 г. Формат 60 × 84 $\frac{1}{16}$ — 12 л. л. =
= 10,96 усл. п. л. (9,14 уч.-изд. л.). Тираж 50 000 экз.
Заказ № 844. Цена 3 р. 75 к.
Детгиз. Москва. М. Черкасский пер. 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва,
Сущевский вал, 49.

Цена 3 р. 75 к.